ЮРГИС КУНЧИНАС

VIA BALTICA

BALTRUS) проза

Юргис Кунчинас
Via Baltica (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3086425
Via Baltica: роман, эссе, рассказы./ Пер. с лит. Г. Ефремова и Т. Перуновой. : Новое издательство; Москва; 2006
ISBN 5-98379-068-4

Аннотация

Юргис Кунчинас (1947–2002) – поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Изучал немецкую филологию в Вильнюсском университете. Его книги переведены на немецкий, шведский, эстонский, польский, латышский языки. В романе «Передвижные Rontgenoновские установки» сфокусированы лучшие творческие черты Кунчинаса: свободное обращение с формой и композиционная дисциплина, лиричность и психологизм, изобретательность и определенная наивность. Роман, действие которого разворачивается в 1968 году, содержит множество жизненных подробностей и является биографией не только автора, но и всего послевоенного «растерянного» поколения.

Содержание

Публике нравится 4
Передвижные Rontgenoновские установки 9
Нулевой цикл 10
1 38
2 54
Конец ознакомительного фрагмента. 79

Юргис Кунчинас
Via Baltica

Публике нравится

Эссе

Общеизвестно, что нравится публике. Публике нравится много мяса. Много крови. Винные реки, коньячные берега. Океаны пива. А потом уже – пар из ушей, плотская близость, хотя для всех очевидно: секс бездуховен, а вернее он антипод духовности. Словом, вокруг одна химия и никакого тебе благорастворения – сплошное то, что поляки зовут rob co chcesz. Да что поляки. У русских есть такое словечко – беспредел. Литовцы названия не подобрали, но в деле могут дать фору учителям-соседям. Иногда.

Публике нравится быть заодно и хорошо себя чувствовать. Так примерно ощущает себя океан во время приливов/отливов. Публика всемогуща. Как океан. Человек, решивший кинуться вниз головой с крыши, так жалеет толпу, что зажимает ноздри и, зажмурившись, совершает последний шаг в пустоту. У публики вырывается вздох благодарности: ах, хоть один не подвел! На его месте так поступил бы каждый, жаль, смелости не хватает.

Публике нравятся фильмы о массовых самоубийствах, о леммингах, которых сама природа загоняет в лисью пасть на берегу Ледовитого моря. Похоже, такими леммингами были и Чингисхан, и римляне, и наши славные предки, павшие возле Ворксы[1]. Издалека публике также нравятся землетрясения, авиакатастрофы, цунами и покушения. Вот если бы все увидеть своими глазами – но из глухого укрытия! Чем страшнее и дальше несчастье, тем спокойнее на душе. Чем многочисленнее жертвы – тем слаще. В какой-то момент у критической массы и растворенного в ней индивида появляется фантомное чувство бессмертия. А как хороши погребения высшего ранга!..

В более мирные времена публика утешалась рассказами об антропофагах, кентаврах, амазонках, бэтменах и прочей бытовой ерунде. Для большинства эзотерика безопасна. Даже астральное тело, увиденное невооруженным глазом, по прошествии времени вызывает лишь снисходительную улыбку. Куда серьезнее, если зритель (читатель, слушатель, соглядатай) приходит в возбуждение только при виде герострат, янычар, мамелюков, Пугачевых и прочих бенладенов. Надо держаться подальше от тех, кто прямо-таки заходится в предвкушении ленты о буднях заграничного легиона, о революции в Мексике или Москве. Дракула по сравнению с ними – невинный младенец. Революции всегда омерзитель-

[1] 12 августа 1399 года на реке Ворксле произошла битва между войском великого князя Витовта и Золотой Ордой. Литовцы были разгромлены татарами.

ны. Даже если исполняются под романс или шуршат бархатистой подкладкой. Видеотехника упоительным образом мастурбирует мозжечки, в которых, по данным науки, все подвергается тщательному дроблению. Все становится мелкой дробью. Наука полагает это естественным и не гневается. Вы когда-нибудь видели разгневанную науку? Поэтому: rob co chcesz!

О, как бы хотелось выступить с официальной нотой: я покидаю ряды зрителей/слушателей! Хватит! Лучше побреюсь, почищу зубы, надраю ботинки и отправлюсь, например, к пани Яне! Но не с теми гнусными целями, о которых здесь выше упоминалось, нет. Мы с ней усядемся за мраморным столиком на террасе. Если пан Ян будет дома, мы станем пить чай и беседовать о низкопробности окружающей публики, о фатальной утрате гуманности. Если же пана Яна не будет, мы все равно не откажем себе в удовольствии заварить покрепче корону Российской империи № 34. И станем еще неистовее поносить зловредную публику. Припомним и ту неприятность в гардеробе театра, когда пожарный во время спектакля свалил в кучу все дорогие дамские шубы, подмигнул молодой гардеробщице и… Мы с Яней только вздохнем. Подкрадутся сумерки. Яня еще раз вздохнет и надумает спуститься в подвал за бутылкой. Я сброшу летний пиджак – ах, наконец-то! – и пойду освещать ей дорогу. На лестнице свеча вдруг погаснет. Яня споткнется и ухватится за меня. Тогда во мне загорится другая свеча, поярче, нежели восковая.

Погреб у пани Яни сухой, просторный. Некоторые господа, сойдя сюда за вином, так бывают довольны, что тут же и засыпают. На этот случай стоит кушетка. Эта кушетка нам с Яней теперь пригодится. Правда, милая? Правда. Пускай бушуют цунами, падают самолеты, гибнут заложники. А когда растает моя свеча, когда наконец, опомнимся, мы с удивлением обнаружим мерцание люстр в подземелье – и публику, окружившую наше ложе: слуг, садовника, шофера с обеими любовницами, старого авиатора, атташе по морской контрабанде и даже чьих-то детей. Яня одернет одну из бесчисленных юбок, улыбнется и приветливо им кивнет. И зал огласится ураганом восторга: браво, бис!!! Внимание и одобрение публики всегда стимулируют исполнителей, и после повторного акта первым пожмет мне руку и вручит орхидеи жене не кто-нибудь – сам пан Ян, известный театральный поверенный. Ах, затрясется он, вот истинное художество, вот подлинное искусство!

Напомню на всякий случай: мясо, огонь, вино и кровосмешение. Действие, а не вялые рукопожатия или заумные диалоги. Пан поверенный не позволит соврать. Пиф-паф, ой-ей-ей – и мы с Яней два свежих полураздетых трупа. Сценография: над пистолетом курится дымок, море вина и крови, вокруг – бьющаяся в экстазе публика. Кто-то бежит за доктором, и вот появляются оба – Шекспир и Чехов. Один с гусиным пером, другой – со старинным фонендоскопом. Пан Ян позволяет Чехову осмотреть себя. Кашель весьма нехорош,

давление выше нормы. Вильям в это время кропает рецепт: покой, диета, сонаты и сонеты. Драматурги запирают пациента в соседней каморке и пытают: какова реакция публики? Один строг, другой добродушен. Добродушен, естественно, Антон Павлович.

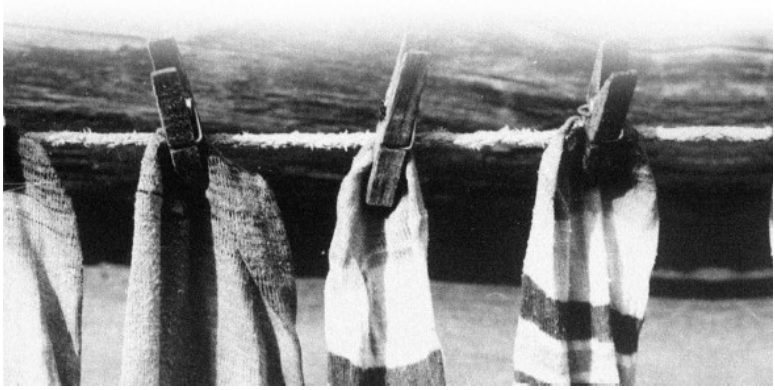
В этот момент впархивают два утомленных ангела и предлагают препроводить куда следует души – мою и прекрасной панны. А куда? Например, на кудыкину гору. Публика за нами внимательно наблюдает. Она всевидяща. И весьма возбудима – еще со времен Гомера.

Поэтому – Play Shakespeare.

Поэтому – Play Антон Чехов.

Передвижные Rontgenоновские установки История болезни и любви

Роман



Нулевой цикл

Мы всегда беззаветно доверяем тому, чего никогда не видели, не знаем или почти не помним. И о чем не хотим вспоминать, чего мы стыдимся даже наедине с собой (а в одиночестве так удобно оправдывать самые черные мысли, слова и дела!). И тогда становится легче: дескать, иначе и быть не могло, от себя никуда не денешься. Даже убийца всегда отыщет себе оправдание: *не пойму, что тогда на меня нашло! Бес попутал*! По науке выходит, что это – естественная для человека самозащита, духовная конвульсия тела, гибнущего от удушения или иного насилия, прорыв из реального или мнимого окружения, попытка уцепиться за соломинку даже тогда, когда надеяться на спасение не только бессмысленно, но и глупо. Что бы ни говорили, все добрые или злые дела мы можем творить только на этой убогой земле, где нас вечно кто-то подталкивает – иногда изнутри, а чаще – снаружи. Вязкая жизнь заставляет держаться писаных и устных конвенций: не плевать в колодец, не ходить по газонам, подтираться не пальцем, а кленовым листом или бумажкой, не висеть на подножках, а писать исключительно правой. Еще – не дуть против ветра, и так всю дорогу. Кому-то хватает десятка заповедей, а благостной Англии – одного билля. Без продолжительных размышлений мы убеждаемся, что история так называемой цивилизации – это вечные переговоры о

мирном соседстве, борьба с паразитами и грызунами, а также вечная гонка вооружений. Все остальное – красивые, но разрозненные эпизоды, блеклые домыслы. Жаль, никому не дано прожить лет этак триста. А то бы нам кратко и внятно поведали, что эта активность вполне бессмысленна – договоренности рушатся, последствия ужасают. Но поскольку такое это никому не грозит, мы строим новые козни, даем лицемерные обещания, готовимся к новым переговорам и даже лелеем наивные надежды отнять Сувалкский треугольник[2], Пруссию и другие земли, освоенные славянами. Да здравствует Пруссия без германцев и русских! С особенной конституцией, валютой, гербом и флагом, – но и все это будет наше! Такие мечтатели немногочисленны, это правда, но соблазн велик, и отыщись хоть ничтожный внеисторический шанс… *Вечный переговорщик* с аппетитом посмеется над подобными грезами. Ну и ладно. Тем более что этого никогда не будет. Ни через триста человеческих лет, ни через триста лет *новопрусских.* Перебьемся. Есть чем заняться и тут, в сумерках века, под воронье вороватое карканье, кряканье перестарков и харканье пьяниц, – все это реально. Никаких небылиц. Положимся на кости мамонтов и динозавров – особую ценность представляют ключицы! – и доверимся ураганам, бушевавшим долгие тысячи лет назад, балтийским цунами и сокрушительным землетрясениям. Вследствие одно-

[2] Обиходное название района на северо-востоке современной Польши, где компактно живут литовцы. (Здесь и далее примеч. пер.)

го из подобных бедствий печальному Снежному человеку пришлось переломить дуб и, на него опираясь, уйти в Гималаи, где он теперь неплохо живет, размножается и пускает слезу при воспоминании о нашей милой отчизне. Мы ведь верим в него, хотя никогда не видели? Точно так же поверим, что существа с летающих блюдец не что иное, как бросившие свою давнюю землю литовцы – жямайты или ятвяги. Правда, подвергшиеся мутации, позабывшие все традиции и обряды, ничего не слыхавшие о Басанавичюсе[3], Витовте Великом[4] и Альфредасе Бумблаускасе[5].

Почему бы и нет? А мы только держим зло на весь мир: нас угнетают, не одевают, несытно кормят, а водка все дорожает, дорожает и дорожает.

Судьи на этой земле всегда суровы и непреклонны по отношению к слабым. А сами-то, надо думать, не святые и не всезнайки. Они постоянно корят и карают нас – злобных, дрожащих, сквернословящих и алчущих правды. Но побежденный всегда восстает из мертвых, хотим мы того или нет. Хороня почти осязаемое (т. е. недавнее) прошлое, мы все глубже влезаем туда, где нас еще не было. Мы все более убедительно объясняем, почему после Грюнвальдской битвы[6] не

---

[3] Йонас Басанавичюс (1851–1927) – врач, общественный деятель, просветитель, один из отцов-основателей Литовской Республики.

[4] Витовт Великий, великий князь Литовский (прав. 1392–1430) – выдающийся военачальник и государственный деятель.

[5] Альфредас Бумблаускас – современный литовский историк.

[6] В 1410 году союзное литовско-польское войско (при поддержке русских

были заняты земли Ордена. Или, к примеру, почему туберкулез подкосил не только королевича Казимира[7], но и всех наших светлых сынов – поэтов, музыкантов, гимназистов, даже врачей. Пользы от этого – никакой. Поскольку в будущем это вряд ли кому пригодится. Но такова уж природа литовца – выискивать пользу там, где ее не бывает, черпать из прошлого черные соки обиды и мести, а нынче – еще и чернить себя: только так, понимаешь ли, можно очиститься от неотвязных наследственных вшей и хворей.

Утешение все-таки есть, хоть и слабое. Чем толще слой лет, тем лучше – совсем как осенняя колодезная вода – человек сам себя очищает от мусора, ила, мути, делается прозрачным, как заводь Жеймяны[8]. Все устраивается само собой – так, бывает, встряхнешь часы, и они опять начинают идти. Тик-так, тик-так. Не так ужасны становятся заблуждения, забываются унижения и обиды, даже страдания. Мгновения, проведенные наедине с пустоглазой смертью, вызывают усмешку, – ну и что с того? Ну, могли продырявить. Спихнуть с обрыва. Положить под колеса. Замуровать в бетонную стену. Разве теперь это важно? Ничуть. Можно снисходительно улыбнуться. Но и достигнув успокоения, облегче-

---

дружин) под водительством великого князя Витовта разбило крестоносцев при Грюнвальде (Жальгирисе).

[7] Казимир Святой (вторая половина XV в.) – внук великого князя Литовского и короля Польши Ягайло (Ягелло), умерший от чахотки в 25 лет. В 1602 году причислен к лику святых. Считается покровителем Литвы.

[8] Река на северо-востоке Литвы.

ния, даже довольства, мало кто решится раскапывать неглубокое прошлое, чтобы найти в непроглядной скуке несколько редких жемчужин. Это прошлое отвратительно, смрадно, кроваво, но вдруг представляется: все это происходило совсем не с нами, а со знакомыми или родными… Мы не пускаемся в эти раскопки из лени, присущей многим, тем более что каждый день приносит события, пусть и далекие: войну в Афгане сменяет война в Персидском заливе, потом Чечню разрушают до основания, а затем опять взрываются самолеты, дворцы, берутся заложники. Никому нет дела до естественной человеческой смерти. До тяжелой болезни, тоски, помешательства – ведь это неинтересно! Даже скучно, когда на земле никто не воюет, хотя такого еще никогда не бывало. Слой лет все толще, они ложатся как однородные бревна в правильный штабель где-нибудь на светлой лесной поляне, и былые события – даже самые неприятные и ужасные – покрываются мягкой бело-розовой слизью, бледным студнем забвения, и оттуда сочится пенициллин. В подобных местах его много, там он недорог и доступен любому. Стоит увидеть такие нетронутые плотные кубы древесины, особенно если это ольха. Пронизанные не слишком щедрым закатным солнцем, они исходят красноватыми ручейками древесной крови, – аккуратны и омерзительны все: снизу до самого верха. Они обещают приют и дарят обманное ощущение безопасности тем, кто заблудился в лесу. А стоит зажмуриться – возникают пылающие леса, заложники под дулами ру-

жей, осквернённые девы и дети. Можешь открыть глаза. И – рекруты, обритые до последнего волоска, инвалиды, бомжи и шлюхи, старики с неизменным кашлем и вечно простывшие письмоносцы обретают странную чистоту, даже очарование, которое само по себе ужасно. Девушек преображает святость, и грубое поругание они принимают как сладкий грехи доказательство собственной неотразимости. Рекруты становятся трупами, лейтенантами, инвалидами в звонких медальных гирляндах. А те кашлюны, письмоносцы, доходяги, адвокаты, поэты, горбуны, горничные еще долго страдают, покуда не выдавят прочь всю свою жизненную субстанцию. Они – жертвы, но агония продолжается слишком долго. Людям потребны жертвы – скорые и желательно массовые. У нас популярна теория, которой я самозабвенно и безнадежно сопротивляюсь – *жертва тоже виновна*! Зачем ее туда понесло? Что ты лезешь, куда не звали? Дома не могла посидеть? Так повисают в воздухе жертва, палач и выкормыш философии, которого в Литве почему-то принято именовать *философом.* Да что это я… Нет резона препираться с незримыми, но вполне ощутимыми оппонентами. Ради чего? Но чувствую рядом дыхание этого *Вечного переговорщика,* провернувшего все мыслимые и немыслимые контакты с турками, немцами, индейцами, мормонами, языческими божествами и Гарри Трумэном[9]. Такой переговорщик есть в под-

[9] Гарри Трумэн (1884–1972) – 33-й президент США (1945–1953), отдал приказ о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

сознании у любого народа. Наивные именуют его защитником прав и традиций, хранителем национального очага. Это Он вроде весталки мужского пола – воплощенная чистота, и жертвенный дым у нее исторгает слезы, и голос ее надорван проклятьями и славословиями, и она трепещет от стужи и сохнет от зноя, – такая близкая и дорогая, что вслух о ней говорят лишь поэты первого ранга, певцы, сочинители звучных кантат, дурачки и простодушные политиканы-чиновники; и в данном случае их восприятие идентично: *весталка бессмертна!* Издеваться над этой жрицей – низко, но не стоит также рассчитывать на утешение или заступничество. Утешение вообще невозможно, ну разве что иллюзия: когда подступит своевременная кончина, придумают жизненный эликсир, и эта бессмысленная бодяга продлится, пусть на полгода. Между тем от вечного благовония, сырости и духоты сама весталка давно страдает костным туберкулезом, который сегодня мало кого волнует, даже магистров от медицины.

Все-таки белый свет разительно преображается даже за время нашей короткой жизни. Когда исполняется пятьдесят, к своему удивлению, можешь сказать вполголоса: о, *четверть века* назад я и помыслить не мог, будто любой сопляк обзаведется автомобилем, станет звонить из дансинга девке по мобильному телефону, а мученики науки начнут лепетать об Интернете. Что русский повалится на колени, как Голем. Что посольство Германии не выдаст визу дряхлому Каткусу,

поскольку нашелся свидетель того, будто он стоял неподалеку от ямы, в которой расстреливали евреев. Что политруки превратятся в политиков, а кагэбэшники – в информационных магнатов. О, четверть века назад (даже раньше!), знаете, говорю я себе, уважаемый, был и я восприимчив, чувствителен, полон каких-то необъяснимых сил и мог поверить в весталку за милую душу. И по правде сказать: я верил. Я тогда был так боек и любознателен, что успевал, проходя по улице, различить не только воробьиную стайку, но и девичьи ножки, потерянный кем-то рубль, бородатого живописца Мечислава на хлипком велосипеде, краешек неба над крышами и в это же время ответить на сотню важных вопросов обнявшей меня блондинке. Это не воспоминания, уважаемый, а ощущения. Вы ведь и есть тот самый – превратившийся в жрицу – *Вечный переговорщик,* которому я собираюсь доверить все или почти все. Вы – несуществующий, незримый, немой, вы меня не перебьете, не заорете, не бросите мне в глаза, что *всюду на свете люди при виде танков бегут без оглядки, и только у нас пытаются закидать их шапками!* Очень возможно. Литва всегда была средоточием странности. В противном случае разве какой-нибудь Мериме сочинил бы *Локиса*? Ясно, что нет.

И мне досталось только одно: изумление – прекрасное, пьянящее чувство! Беседую с вами и никак не могу перебороть удивление: как это я, живший стихийно, рассеянно, *безответственно,* всегда нарушавший элементарнейшие кон-

венции, договоры, обещания и присяги (в/ч NN), живший неправильно, нестабильно и в целом печально, все-таки дотянул до пятидесяти и могу сквозь привычный кашель крикнуть осенней тьме: *о, четверть века назад!* Вечность назад! В определенном смысле это несправедливо: сколько более светлых голов сложено в катастрофах, побоищах, в горах и пустынях! Те, помоложе, не успевшие накричаться, спеться, рассориться и помириться, победить, проиграть, написать, наиграть, оставить внебрачных и законных детей, – сгинули, умерли, утонули, повесились, пропали без вести, так и не дождавшись Независимости, трех *га* песчаной земли, компенсации и документа о том, что дед и отец действительно не участвовали в карательной экспедиции против торговца Ицика, а позднее не шатались по городку с дисковым автоматом ППШ и не охраняли красные обозы и агитпункты. Как подумаю о своем *персонале,* который безвременно переселился на ПМЖ в лучший мир, пробирает священный ужас, но понимание, что все это закономерно и окончательно, заставляет дышать ровнее, ритмичнее, а попытки возлюбить врагов иногда представляются плодотворными.

С какой безжалостной скоростью пролетает осенний день! Встаешь – и противно, что дождь, что сморкаются даже дворовые псы, что сосед так натужно и долго прогревает мотор своего тарантаса, что даже, кажется, температура всего квартала возьмет да и подскочит хотя бы на градус! После – ведешь какую-то жизнь, какие-то *переговоры* о быте, а может, о

бытии, объясняешь кому-то, что не повинен в массовой резне на Балканах, в неправомерном награждении Нобелевскими премиями всяческих шарлатанов и пасквилянтов, толкуешь (пусть мысленно) о новой шкале ценностей, несправедливом распределении продуктов внутри государства и в твоем организме, споришь, что это не ты изобрел НДС и создал проблему вывоза радиоактивных отходов, что – напротив – стараешься утвердить представление о личном достоинстве, уважение к аптекарям, доверие к судьям, любовь к чистому воздуху… И вдруг различаешь: за окном незрячая тьма, звезды еще не затеплены, слышатся лишь одинокие выстрелы, а когда поминаешь лихом еще один пустопорожний день, уже погружаясь в тусклое сновидение, – как резаный визжит телефон, и громкий, но слабо знакомый голос живо интересуется: эй, старик, не поможешь отрекламировать нашу мебель? Слушай, звоню из Брянска, тут у нас штаб, ну как? Старенькая «Победа», мебель и ты *наверху,* а? Братск, Брянск, Брест, Бреслау, Братислава, Брно, Бильбао – один черт! А ведь знает, скотина, что в наших широтах глубокая ночь, и, помолившись Боженьке, спят усталые твари, по привычке переговорив о возможностях избавления, наикратчайших путях в царство Небесное и других мелочах. Брянск! Что мне до этого Брянска? Чего я там не видал? Трепыхается строчка русского барда: *и мой товарищ серый брянский волк!* И насилует телефон не кто-нибудь – режиссер *Дилижанского театра,* бесстрашный исследователь Во-

сточного рынка, приятный и словоохотливый Гюнтер Бернштейн. Сутки прочь! Дня уже нет, не будет и ночи, раздается еще звоночек: *Ты спишь? Извини…* Эта кумушка всех обучает нормам bon tona, патологически ненавидит многострадальный Вильнюс с его уникальной культурой и при случае сообщает: «Ты знаешь?! Из Вильнюса две приехали в Каунас! Интеллектуалки! Чулки перекручены, из-под мышек потом несет, волосы жирные!» Как будто самой приходилось щупать и нюхать. Такие вот аргументы. И все на мою бедную голову: реклама брянской мебели, подмышки интеллектуалок, рекомендации соискателям Пулитцеровской или Кудирковской премии. А благотворительность в пользу временно вышедших из тюрьмы самородных художников? Они потребляют лишь «Амаретто» (так теперь называется популярный одеколон «Тройной»)! Могло ли все это быть *четверть века* назад или немного раньше, в самый разгар строительства коммунизма? Что бы ни говорили, котлован под это строительство был вырыт настолько глубокий, что и теперь в него многие падают и очень дико вопят. Мы сообща ковыряли проклятую яму, а теперь нам велено начинать с *нулевого цикла.* Нам, которым грозят с Востока, которых стыдят и вежливо поучают с Запада, которых похлопывают по плечу соседи, которых так раздражают общества защиты животных и охранники прав человека. Разве так это было в каком-нибудь 1968-м? Куда там! Смертные приговоры исполнялись незамедлительно, разноверцы друг друга не резали,

отопительный сезон в психбольницах всегда начинался вовремя… Натуральная ностальгия *homo sapiens'a* по утерянным временам. Все эта бессонница! Даже служителям культа было сравнительно просто, когда Богу публично казали фиги… или прислужникам идеологии… ну хватит уже, спать, спать. Всех не упомнишь, а жаль. Для меня эта четверть века как некая отправная точка, даже не могу объяснить почему – убедительно объяснить. Наверное, каждый по-своему меряет эту свою *четверть:* как шапку, сандалии или гроб. Но покойники из моего персонала в те годы и думать не думали о какой-нибудь четверти или там половине века. Все носились как бешеные, спортом занимались не ради денег, а для здоровья, одолевали быт, моргали ресницами, иронически улыбались потугам империализма, портили воздух, писали искрометные жалобы, распространяли враждебную пропаганду и так далее. Совсем не предполагали расставаться с этим непоучительным миром, плели авантюры и планы, мечтали увидеть Париж, а потом, обычно не по своей охоте, самыми разными способами брали да испускали дух. Разными? Вряд ли. Как посмотреть. Почти никто не умер естественно с обиходной клинической точки зрения. Но для нынешнего *нулевого цикла* все они тем не менее как-то годятся. Дорогие мои мертвецы. Все равно теперь не засну. Да и День поминовения скоро. Все эти могилы, могилы. Грязь – черная, мягкая, точно бархат. Нежная, будто кошачий хвост, и бескровная. Как там сказал этот шизофреник с усами, Сальвадор? Ага

– *кровь слаще меда.* Крови на кладбище нет. Лишь обязательные посетители на исходе дня Всех Святых. Демонстративная боль, хотя… *Нулевой цикл* всегда наиболее грязен и труден при строительстве долговечных прекрасных дворцов. Зато неизбежен и необходим.

Повилас – мой друг по начальной школе и первый покойник, которого я увидел. Страха не было – одно любопытство. Когда его наконец достали из Немана и обрядили, возле дома на Вильнюсской улице вывесили розовые в белых крестах знамена. Его по-церковному отпевали, хотя оба родителя были учителя, их многие предупреждали по поводу этих знамен. Не послушались. Нас тогда принудительно стригли *под ноль,* и на головке Повиласа светились белые метки от недавних шалостей и потасовок. Все же один престарелый мужчина шепнул мне: *«Уже на небе наш Повилас! Детям легче туда попасть.»* Как я тогда мечтал о мгновенной смерти! Розовые знамена, ковер в кузове грузовика, смолистый гроб и Царство Небесное в двух шагах! Повилас, правда, учился только *на пять,* он был первенец в семье деревенских учителей. Отец коренастый, темноволосый, весь в каких-то морщинах. Мать – высокая, стройная, с тоненькой белой шеей. Повилас захлебнулся, когда доставал из воды футбольную камеру. Через год в деревенской школе на елке сгорел его братик, как звали, не помню. Его нарядили зайчонком. Кажется, опрокинулась керосиновая коптилка, еще говорили, что от бенгальской искры заполыхал весь керосиновый

бак. В палате Зайчик еще несколько дней извивался от боли, потом его губки разжались – и умер. Волкус была фамилия у того учителя, Волкувене – его жена. Что стало с их третьим сыночком-волком, не знаю. Может, в армии сгинул, может, пьяного придавило трактором. А может, и нет.

Шарль Тамулис, студент-филолог и кельнер, повесился на брезентовом солдатском ремне, у тещи, в туалете блочного дома. Ненавидел социализм, но повесился не поэтому. У него были *комплексы,* кроме того, брак оказался не слишком удачным. В доме жены у него как-то сразу все не заладилось. Был он безмерно чувствителен, поэтичен, подозрителен и невезуч. Как некий гелиотроп в нашем северном климате. Но сколько таких живут себе – и ничего. А у него все выходило как-то бездарно. Бездарно учился, бездарно женился, бездарно устроился в ресторан. Мог бы стать прекрасным лесничим, а может быть, даже свадебным музыкантом. Так нет! Тогда в учреждениях была идиотская мода праздновать День Советской армии и Военно-морского флота. Глупые разговоры, ругань и пьянка до полной потери пульса. Шарля я знал: мы вместе кончали школу и были почти друзьями. В нем горела какая-то непонятная ярость, даже на вечеринках. Но кто же в юности обращает внимание на такую чушь! Так вот, отпраздновав этот день в своем ресторане, Шарль поплелся домой и в постели не обнаружил своей бледнолицей супруги. Он разделся, сел на кровати и принялся *курить.* Жена его, надо сказать, родилась в землянке, русская, но сам-то он из

обычного родильного дома. И все равно чересчур возбудимый, раздражительный и все принимающий близко к сердцу. Когда заявилась Варя, Шарль спросил: «Ну, Варя? Где ты была?» – «Какое твое поросячье дело? – буркнула Варя. – Дай поспать». – «А вот пойду и повешусь, – заявил Шарль Тамулис, мой друг, – баста!» – «Вешайся», – буркнула Варя и засопела во сне. А Шарль пошел и повесился. Он был человеком принципа, так воспитан – слово надо держать! Наутро Варя задумала помочиться. Поплелась в туалет и наткнулась на ноги Шарля. Раздвинула их, положила себе на плечи и присела на унитаз. Отвратительно рыжий от железистых вод. Она себе чиркает струйкой, а Шарль будто сидит у нее на загривке. Так это выглядит. Только никто не видит. Вдруг протрезвев и поняв, что случилось, бедная Варя криком перебудила весь блочный дом. Когда Шарля Тамулиса хоронили, от мороза трещали заборы. Не трещала только кладбищенская ограда, ее недавно сложили из кирпича. Когда насыпали холмик, я прочитал стишок собственного сочинения. Изо рта у меня выбивался пар, я-то был еще жив. Я совсем не хотел умирать и куда-нибудь попадать. Снег повсюду – глубокий, сухой, летучий, кто-то сказал: могильщики взяли тридцать рублей за яму. Тогда это были сумасшедшие деньги. Со временем на могилу Шарля вкатили камень, с которого он обожал рыбачить. Выволокли из реки и прикатили на кладбище. А Шарль иногда возьмет и привидится, я с ним еще и сегодня спорю, только он почти все время молчит, не

перечит, лишь снисходительно улыбается.

Бипка – так некрасиво мы называли Юозаса, – ложился на траву у реки, живот в себя втягивал с такой силой, что проступал позвоночник, и просил, чтобы мы у него на брюхе прыгали, как козлята. Сильный, кряжистый, лицо в конопушках, а волосы ежиком. Когда подрос, играл в футбол за городскую команду, потому что носился как ветер, такой он был. Когда Бипку выставили из команды – за водку, драки, чего там еще! – и погнали со службы, где он, говоря по правде, никогда не работал, а брал зарплату как *футболист,* он запил совсем по-черному. Могучий он был, мог себе позволить. Его бы на долгие годы хватило. Пил он обычно в лесу, возле озера: вроде глушь, а магазин под боком. Кто-нибудь сбегает, принесет, а ты полеживаешь в орешнике и выпиваешь. Устал, повернулся набок и спишь. Как-то Бипка лежал на спине и уснул, и, хотя в тот раз никто не скакал у него на брюхе, стало ему нехорошо, стошнило, и он захлебнулся. Говорят, некрасивая смерть. А когда это смерть бывает красивой? Выдумка. Для легковерных людей. А жаль. Его бы снова взяли в команду. Мог бы играть и играть. Пить и пить. Есть же люди, которые спят на спине. Лежат, храпят – и им ничего. Но ведь можно и на боку. Даже если стошнит, ничего особенного. Ну, облюешь пиджак и рубашку, большая беда! Неприятно, ясное дело, но пустяки по сравнению с. . Я уже говорил.

В поэзии, к сожалению, тоже таится смерть. Даже боль-

шая, чем в реальной жизни (если такое возможно). Сочинитель стихов чересчур серьезно воспринимает такие вещи, по части которых нормальные люди не беспокоятся или крутят пальцем в районе у виска. Мика сочиняла посредственные стихи, зато от всего сердечка. Работала в газете верстальщицей или вроде того, влюбилась в заведующего литературным отделом – красивого, одаренного пустозвона. Парень косил под британца, ежедневно повязывал галстук, курил сигареты с фильтром, хотя они тоже были дерьмовые. Выдавал водянистые очерки и пафосные рецензии, но это не очень важно. Влюбленная Мика днем и ночью исходила стихами. Девчонки одна за другой падали жертвами завотделом, хотя и знали: завтра найдется другая. Он и сам этого не скрывал, был вульгарным самцом, и только. Мику он как-то раз проводил из кафе и напросился в гости, не встретив серьезного сопротивления. У Мики он был вторым, и уже последним. Мика – баба как баба, вот только стихи! Ей было, по-моему, двадцать три. Любила подонка и после этой паршивой ночи. Письма писала, посвящала сонеты и триптихи. Тогда он уже открыто начал ее избегать. А Мика написала ему письмецо и назначила встречу на понтонном мосту, который в то время еще не отчалил (вместе с оравой людей) в неизвестность. В пять часов пополудни, в июне месяце. Купальный сезон уже был в разгаре. Мика совсем не умела плавать, панически боялась воды. И все-таки написала: «Не придешь – утоплюсь!» Британец, скорее всего, пришел бы, но в это время он был

действительно занят: в номере «Неринги» энергично трахал спецкора «Комсомольской правды» по Прибалтике и Калининградской области. Пухлую, рыжеволосую даму. Это тебе не тощенькая Мика. Это могло быть началом творческого пути в Москву. Тогда для него это было важно. Важнее, чем жизнь впечатлительной Мики. Мика его подождала семнадцать минут, зажала пальцами узкий и длинный нос и шагнула с понтона, как с тротуара шагают на мостовую. Пенсионерки видели с берега, даже сообщили кому-то, да что с того.

Но самая трудная смерть доставалась тем выпивохам, у которых была работа, приличный оклад, семья – и которые всем этим дорожили: зарплатой, семьей, алкоголем. Таким и был мой институтский коллега Венисловас Воевода. Сначала он изучал литовский язык, затем – экономику, а под конец стал работать надсмотрщиком над учеными в университете. Только от Венисловаса зависели их поездки, прохождение диссертаций и многое в том же роде, о чем в прежние времена вслух говорить считалось не очень прилично. Словом, от него зависели люди, их академическая и жизненная карьера. И вот эти ученые люди избаловали Венисловаса Воеводу, развратили его, превратили в вельможу. По всякому поводу поили его коньяком, дорогими настойками, а непьющие просто дарили напитки; Воевода, надо отдать ему должное, не принимал конфет. Истинный пьяница знает, что для здоровья самое главное – пить обыкновенную водку, а не эти дорогостоящие суррогаты. Воевода все это понимал, но *белую*

пить не позволяло его особое положение и высокий престиж. Ведь коньяк является знаком подлинного почтения, подхалимства высокой пробы. Венисловас был приятным, рослым мужчиной, не без юмора. Любил цитировать римлян и греков. Сам пописывал, но потом устыдился и бросил – дела! Денег было навалом, и он не скупясь угощал друзей и знакомых. Мне он как-то сказал: «Ценю две вещи – семью и работу». О коньяке умолчал. Он располнел, захромало сердце, и во время обмывания очередной диссертации его природные часики взяли и остановились. Все Воеводу жалели, горько плакали. Ничего плохого он никому не делал. Не просил, чтобы ему подносили коньяк. Не пыжился перед коллегами. Надгробные речи звучали вполне убедительно и были проникнуты неподдельным чувством.

Чикаго, на редкость способный график, выспался на берегу Вильняле[10], прищурился против солнца, зевнул и широким шагом ступил на дорогу, ведущую к бывшему пригороду, известному под кличкой Помои. И в то же мгновение оказался под гигантскими колесами самосвала. Велик был пресловутый *Чикаго,* но самосвал одолел его без особых усилий. *Чикаго* учился графике, но по природе был скульптор. Мечтал сотворить два памятника: повстанцам и летчикам всех времен. Литовцам, естественно. Но ничего не успел, времени не хватило, все пил и пил. Даже не знаю, почему его прозвали *Чикаго.* Ведь он был селянин чистой воды, из-под Са-

[10] Вильня (Вилейка) – река на востоке Литвы, дала имя Вильнюсу.

лакаса или Антазаве, неотесанный, точно гранитная глыба.

Когда пришлось прохлаждаться в *Пьяной тюрьме* и становилось совсем паршиво, я заглядывал в комнату музыкантов, находил там Генрика В. и уговаривал вытащить саксофон из футляра. Если удавалось, я начинал упрашивать, чтобы Генрик *мне одному* – и как можно громче! – сыграл мое любимое «Criminal tango». В этом заведении оно особенно удавалось. Он, пускай и не очень охотно, обычно в обмен на чифирь, вытаскивал и играл. Иногда получалась полная лажа. Но временами он сам распалялся так, что в целях установления тишины и порядка прибегали прапорщики и даже дежурные офицеры. Такая сентиментальная, но с примесью крови мелодия, не слыхали? Когда Генрика отпустили из *Пьяной тюрьмы,* он вспомнил о своем музыкальном образовании и начал искать работу. Но его никуда не брали. А, говорили, ты ведь *там* побывал, неудобно как-то. И Генрик присосался к бутылке, как теленок к коровьей титьке. Его благоверная даже ночью таскала водку, понимала, что он не со зла. Но как-то она *попалась* в своем буфете и была ненадолго изолирована от общества. Генрик остался с падчерицей и еще плотнее припал к заветному горлышку. Однажды ночью он принялся дико орать, падчерица в соседней комнате проснулась и даже подумала вызвать «скорую». Но очень хотелось спать, и она решила: ох, в первый раз, что ли! Поорет и заснет, а утром опять станет молиться о ниспослании пива. Генрик и впрямь заснул, но уже навеки. Что

ей стоило подойти, поправить подушку, подать воды или валерьянки, потрясти за плечо, раз уж малый дошел до *точки.* Утром падчерица позавтракала и по-тихому отвалила в Клайпеду. Пока отпустили буфетчицу, прошло еще два-три дня. Так и лежал себе Генрик один-одинешенек. Без всяких там *Criminal.* Один его глаз был прижмурен, а второй, залепленный катарактой, зиял, как большое таинственное дупло.

Нет, наверное, все же засну. Перечислил некоторых, лишь тех, что всплыли со дна на поверхность. А сколько таких на моей *четверти века.* Тю, присвистнула бы моя покойница тетка, сколько невинных людей умерло и погибло, было задавлено, затравлено и забодано! И она, конечно, была бы права. По-своему. При жизни она бы сказала: все, кого ты назвал, – проклятые пьяницы, самоубийцы, шизофреники, попросту говоря, *ненормальные!* И опять была бы почти права, как бывала права всю свою долгую жизнь. А мне почему-то кажется, что все они мученики. «Сколько невинных людей скосила одна чахотка!» – говорила моя справедливая тетя. Правда, она родилась в начале этого века и успела на все насмотреться. Но я говорю: все они мученики, как и множество других незнакомых умерших. Только они уже никогда не станут соревноваться, чье страдание горше, кто из них наиболее нужен и важен для человечества. Не будут просить о канонизации, о зачислении в чудотворцы или угодники. Таким всегда не хватало *промоутеров,* высоких заступников и покровителей, а я, к сожалению, не гожусь для по-

добной роли. С другой стороны, Жанна д'Арк столетиями дожидалась, пока… но что за сравнения! Мои страдальцы никогда не смогли бы понравиться массам, даже несчастный Повилас. Слишком их много. Вдруг им тоже были доступны прозрения и озарения, только об этом никто уже не узнает. В святых обязательно есть что-то страшное и недоступное пониманию, а мой персонал прозрачен, как первый лед. И вполне пригоден для *нулевого цикла* – а это примерно то же, что ровное, занесенное снегом, ничем не приметное место в чистом поле.

Повторяю: у каждого есть свой *нулевой цикл,* принадлежащий только ему, и от собственной воли зависит – начинать строительство или бросить. В этом цикле, с которого начинаются остальные работы, есть всего понемногу: медные и железные руды, золотоносный песок, человечьи, собачьи и конские кости, разнообразный хлам, остатки того, о чем мы уже никогда ничего не узнаем. Можно наткнуться на целую бомбу или артиллерийский снаряд. Тогда придется звать пионеров. Что касается прочих находок, тут нужны археологи. Хотя они особенно нежелательны: глядят на живых свысока, мешают работать, спорят о каждом обнаруженном черепке, роются-роются, а потом кричат, что ничего существенного не нашли. Ты и сам в этой яме можешь ничего не найти, так обычно и получается. Потому что все эти норы, подземные кротовые тропы, корни, валуны, суглинок, песок, становящийся то темнее, то светлее, – они-то и есть среда, в которой

не спеша протекает скудная жизнь. Но если найдешь *сапропель,* уже можно на что-то надеяться. Сапропель – обещанье открытий. Тогда твоя четверть не будет совсем пустой. Будет грязной, кровавой, зловонной, но не пустой. В ней обретут права на существование и бескрылая галька, и мертвый жук, и странная деревяшка. Однако, наткнувшись на более крупную вещь, даже на полуистлевший ларь, не спеши восторгаться и умиляться. Пуговица или патронная гильза могут вдруг оказаться стократ важнее негодных денег или тусклых висюлек, которые у тебя все равно отнимут, поскольку языки у людей такие же длинные, как четверть века назад. Во всяком случае, этого века, который не только благоухает как свежий мед, но и воняет сильней кошачьего дерьма.

Но похоже, что *самое время* начать, ведь новых друзей не найдешь, а старые почему-то все чаще берут и выкидывают последний фортель: без всякого предупреждения отправляются в мир иной, куда много лет назад отправились Повилас, кельнер и филолог Шарль, стихотворица Мика, саксофонист Генрик и прочие, здесь отдельно не упомянутые. Все порознь, все по отдельности. Наверное, скопом было бы лучше? Хоть словцом перекинуться, высмолить самокрутку. Да нет. Это штука суровая и необратимая. Никто уже не придет, не постучится, не скажет: ах, прости, это я пошутил не совсем удачно! И не узнаешь, когда подобную шутку выкинешь сам, потому и боязно рассказывать о других, не сумев натянуть их новую шкуру. С чувством, что не успеешь объ-

ять весь этот *нулевой цикл,* – а сколько всего случилось еще до него! – маешься и прикидываешь, с какого бока тут лучше зайти, чтобы скорей пробраться на двадцать пять лет назад и вытащить все свои *захоронки* на божий свет, полный пахучей пыльцы и золотистой пыли. В общем, некогда размышлять об этом.

Летним вечером на собственном автомобиле ко мне прикатил один прославленный режиссер, обривший голову наголо, но мало смахивающий на бандита. Сто девяносто сантиметров, взгляд утомленного сокола, и такие бывают. Попыхтел сигаретой, почмокал кофейной гущей и говорит: *будем делать кино.* Они все *делают,* иначе не могут. Театр из него, понимаешь, уже высосал последние соки, необходимо переливание крови. Он говорил попроще, это я пересаливаю. Я слушал и знал: ведь не выгорит! Но слушал и смирно кивал: как же, конечно, понятно, всенепременно, о чем, когда? Бритый не гнался за славой, он был вполне обеспечен по этой части, почти обречен на творческие успехи и не любил об этом распространяться. Мы были знакомы со времени того *нулевого цикла,* когда нынешний гений в шинели рядового Советской армии (малиновый кант!) в Старом городе рыл траншею под кабель и часто заваливался голодный в мастерскую одного реставратора, мыслящего излишне национально, где получал ковшик водки и горячих сосисок с едкой горчицей, а сам выглядел еще худей, чем теперь. Он и тогда был не особенно разговорчив. Правда, это тянулось недолго:

кончилось время проклятой службы, дали труппу, с каждым годом все громче звучало имя, и он до того прославился, что потенциальные конкуренты поняли: нечего задницу надрывать, его не догонишь, лучше вести свою исконную борозду и беседовать с начитанными матронами из приятных газет.

– Кино собираюсь делать, *зараза,* – бросил бритоголовый, не разводя зубные мосты, золотых тогда еще не было, во всяком случае, спереди. – Знаешь что, садимся и едем. Прямо сейчас.

– Куда? – я попытался проявить интерес, хотя мне было до фени.

Мимо кладбища Россу[11] мы свернули на Черный тракт. Я знал давно: Черный тракт ведет в Велючонис, там колония для малолеток, которая, ясное дело, называется по-другому. Мой двоюродный брат, нигилист и боксер, преподавал там когда-то физику. Он говорил: эти *компрачикосы* боятся меня и *физрука.* Никого больше. Но мы поехали вбок – по улице Радости. Тут радовались деревья, кусты, огороды, новые и неновые стены, открывался роскошный вид на долину, за которой краснел знаменитый откос и темнели уже другие леса – угрюмые, черно-зеленые или даже синие. Лет пятнадцать назад я каждый день проезжал по улице Радости в Психоневрологическую больницу, куда удалось пристроиться санитаром, за меня поручился известный театральный критик, который там тоже эпизодически подрабатывал и даже ставил

[11] Старинное кладбище на восточной окраине Вильнюса.

короткий спектакль – в нем принимали участие и персонал, и пациенты. Я улыбнулся: вот так моя жизнь соприкасается с театром! Я недолго тогда прослужил санитаром: доктора и обслуга доставали хуже больных. В те несколько месяцев, проезжая на 34-м автобусе по улице Радости, я временами думал: вот-вот попаду на улицу Горечи и Отчаяния, на территорию абсолютной и относительной глупости, где придется утихомиривать оскорбленных, носить тарелки лежачим, а после обеда вести в вольер на прогулку тех, в ком еще теплится странный, для нас непонятный разум.

– *Улица Радости!* – я усмехнулся кисло и громко.

– Чего ты скалишься? – глянул в мою сторону гений, а меня неожиданно озарило: а вдруг это будет фильм о безумцах? О других сумасшедших, конечно, вовсе не обязательны смирительные рубашки и раздвоенные языки. Нет, сумасшедших много, всех не втиснешь даже в большое кино.

В город мы возвращались уже по другой дороге – мимо Источника, который, подобно какому-то *Лурду,* примагничивал толпы людей. Режиссер пояснил: эта вода не портится, не скисает, утоляет не только простую, но и духовную жажду. Там стояли машины, горели окна маленького киоска – торговцы уже учуяли прибыль.

Мы вышли, постояли в недлинной очереди и отведали чистой и вкусной воды. Рядом была доска с рукописными объявлениями: люди предлагали друг другу менять квартиры,

что-то там покупать, продавать, приглашали жениться, заняться массажем и просто жить вместе. Возле заветной будки тоже переминалась смущенная очередь, тогда я свернул в соснячок, но и тут были сплошные машины. Наконец я нашел укромное место и смог облегчиться, вернуть земле эту благую влагу. Оправившись, я огляделся и в двух шагах от себя увидал настоящего монстра: почти насквозь проржавевший длинный автобус без единого колеса, железный скелет, еще не совсем обглоданный. Ну что же, автобус, равнодушно подумал я и тут разглядел никелированное название – оно сохранилось чудом, никак не иначе *Ikarus.* Популярный венгерский автобус, знакомый нескольким поколениям. Этот из самых старых, ветеран. Только немного странный. Какой-то *непассажирский.* Даже по ребрам видно: непассажирский. Автобус тоже принадлежал моему *нулевому циклу,* и я из любопытства подошел поближе. Какие-то стенки, перегородки, щиты, остатки сидений. Ясно, *непассажирский.* Призрак. Не хватает скелетов – водителя и команды. И вдруг меня осенило: ведь это автобус *Rontgena ! Передвижная Rontgeновская установка!* Как же я сразу не понял! Даже жарко стало: еще один ископаемый динозавр. Один из тех, что носились по всей Литве и тщательно проверяли, кто из советских граждан еще смеет болеть туберкулезом. ТВС или, попросту говоря, *чахоткой.* Ну-ка, в очередь, заходите по одному. Раздевайтесь до пояса. Становитесь вот тут. Так, готово. Следующий, следующий, следующий… Школы, заводы, рабочие

коллективы – все подряд. Вдруг в ком-то завелся малюсенький туберкулезный очаг?

Я вернулся к источнику, подозвал режиссера: пошли, что покажу! Он только пожал плечами и послушно пошел, ведь мы никуда не спешили. Мы тихо подкрались к моей находке. Уже темнело, но режиссер его сразу признал: *Rontgenl* Как же, припоминаю! Он заметно разволновался, хотя никому никогда не признался бы в этом. Нагнулся и пролез внутрь чудовища, чертыхаясь: такая темень, совсем ничего не видно. А что он там собирался увидеть? Может быть, на экране густеющей ночи он мечтал разглядеть собственную грудную клетку и легкие, прокуренные на нескончаемых репетициях? Кто его знает. Я ждал его рядом с *Икаром,* курил, и довольно долго.

Наконец он вылез, встряхнулся, выругался, хлопнул себя ладонью по заднице и говорит: «Ну все, поехали!» Я молчал: захочет, сам все скажет. Так и случилось: возле будущего посольства Грузии режиссер повернулся ко мне и вполголоса проговорил:

– Все. Будем ставить. О *Rontgene.* О таких вот автобусах. Завтра снова сюда подскочим, только днем, это ясно. Напишешь сценарий?

Я пожал плечами, а он уже все решил.

1

Неимоверна самонадеянность низменного ума: достижения, которыми принято кичиться (но перед кем?), – все это случайные пустышки. Так, бывает, в лесу наступишь на ветку, и вдруг до тебя дойдет: это вовсе не сук, а хвост уснувшей змеи. Так, иногда без всякой причины, чаще при экстремальных условиях, в коре головного мозга соприкасаются какие-то проводочки, и человека на мгновение озаряет, что все открытия – величайшая чепуха, но тут появляется здравая мысль: так уж заведено и будет тянуться до бесконечности. Лишь на пороге смерти или катастрофы можно вполне осознать, какая бессмыслица вся эта хваленая полезная деятельность, достойное поведение и благодарность ближних, как бы цинично все это ни звучало.

Никакой трагедии тут нет. Великое счастье, что человек способен использовать только часть предполагаемой – и даже исчисленной! – мозговой потенции; счастье для него самого, разве нет? Человечество могло бы очухаться и остановиться на изобретении клозета и громоотвода, уже тогда, помнится, слышались трезвые голоса: хватит! Серьезные мужики и экзистенциалисты давно твердили, что счастливейшие существа на земле – дикари и помешанные, которые только хихикают в кулачок. Но куда там! Был выдуман миксер, газировочный автомат и конвейер – самое страшное

изобретение всех времен. Высокомерие опять победило, так случалось всегда. По глупому любопытству человек смастерил водолазный костюм, какой-то Морзе сочинил свою азбуку, военные придумали камуфляж, а когда неожиданно были открыты лучи, названные по имени *Wilhelm'a Konrad'a Rontgena – он тут виноватее всех! – тогда и открылась прямая дорога для атомного кошмара. Не имеет значения, что не сразу. Неважно, что замысел был другой, – так все говорят! Несущественно также и то, что господа открыватели были почтенными, богобоязненными и совестливыми людьми. Многое тут несущественно, включая и результаты, которые от современников прячут две самые глупые из человеческих каст – военные и политики. Далее идут предприниматели, технологи, полоумные гении. И только потом – незрячие исполнители. Но и они – тоже страдальцы. И тут здесь не важна непоследовательность – кстати, ее упорно игнорируют и отрицают, при этом отдельные личности незаслуженно превозносятся до небес! Важно, что заветную кнопку с легкостью может нажать большой гуманист или пытливый ученый, ничего от этого не изменится. Нет, даже громоотвод – это уже чересчур. Не говоря о клозете. Так и вижу: какает в чистом поле крестьянин, а в него ударяет разряд небесного электричества – и аминь. Все естественно. Надо было довольствоваться колесом и огнивом. Размножаться было бы можно, строить дороги – тоже. Катишь себе, остановишься, разведешь огонь, изжа-*

ришь изюбря, перекрестишься и снова катишь, и катишь, и катишь…

Для меня достаточно *W.K.Rontgena.* Не мне его обвинять – это было бы слишком наивно. Всякий цивилизованный человек, не повышая голоса, объяснит, сколько пользы *W.K.R.* принес человечеству, нам, горемыкам, пропитым и пропитанным сыростью полуподвалов, просмоленным дурным табаком, провонявшим пылью каменоломен, заводов и улиц, прокопченным испарениями асфальта и выхлопною гарью. Он, Вильгельм Конрад, неожиданно сам для себя сделал так, чтобы *туберкул, каверна, чахотка* не звучали в наших ушах пугающе и фатально. Туберкулез – свирепая, враждебная жизни химера – благодаря ему стал драматической, но не гибельной повседневностью. Напомню: чахотка обнаружила свое истинное лицо лишь с появлением рентгенограммы. В 1896 году был сделан первый рентгеновский снимок: тогда ученые сфотографировали младенца, умершего в утробе. С этого все началось! Не будем хамелеонами – до той поры образованный мир прекрасно уживался с чахоткой и не пытался оказывать ей дурацкое сопротивление. А каким живительным ветром проносилась чахотка по чердакам, населенным вдохновенными чудаками! Джузеппе Верди наделяет чахоткой очаровательную Виолетту: она печально и проникновенно поет (полулежа), потом выпивает шампанского за компанию с Альфредом и благостно умирает (любя). Альфред презирает средства защиты, обходится без стерильно-

го респиратора, даже не прикрывается носовым платком. На сцене, во всяком случае. Чахотка – сестра Пустоглазой, она косила всех без разбора, невзирая на титулы и заслуги, набожность или ересь. Во времена королевича Казимира не было такого количества дыма, газа и прочих нынешних мерзостей, но чахотка взяла и его. А он ведь жил во дворце, досыта ел и пил, даже, кажется, не курил. Поэты, музыканты, полководцы, священнослужители – бацилла была ко всем одинаково благосклонна и, поселившись в них, не отпускала до последнего вздоха. Чтобы чахотка не казалась какой-то господской болезнью, вроде подагры или мигрени, бацилла в точности так же косила пролетариат, плебс, ремесленников, бюргеров и чиновников. Одни крестьяне как-то выкручивались, и то не все. С другой стороны, кто осмелится утверждать, что, к примеру, поэты стали бы тем, чем стали, если бы не ее величество чахотка? В истории литературы под чахотку надо бы выделить по меньшей мере увесистый том; литовцам хватило бы и солидного научного очерка. В нем эту проблему можно вознести до небес, распахнуть до самого горизонта и углубить по самые недра. Чахотка, сама того не желая, объединила нации, расы и классы лучше, чем все стихийные бедствия и призывы к равенству, – она-то уж всех уравняла. Если б она сумела промолвить несколько слов о себе, то она бы, наверное, так сказала: «Я – злопамятная тихоня. Я розга, недоля, я стыдоба и язва державы». В эпоху социализма – была и такая! – все несчастья, что сопутство-

вали чахотке, относились на счет издыхающего и загнивающего (какая среда для бацилл!) капитализма. Но когда она не исчезла в условиях зрелого социализма, – о ней, о чахотке, вообще перестали распространяться вслух. А она повсюду совала свои длинные когти. И ее невозможно было ни расстрелять, ни сослать в Сибирь, где бы она околела от холода. Нельзя ее было культурно подставить, затравить и лишить гражданства. Как ни целься, все мимо. Чахотка таилась рядом, даже в центральном здании КГБ и многочисленных филиалах; ее было можно было допрашивать до седьмого пота, припирать к стене, бить шомполами, мучить бессонницей, морить голодом – все напрасно! Ей нельзя было пригрозить, что никогда, мол, не выпустишь за границу, – чахотка умела оказываться за рубежом, не покидая страны. Потому-то Советы, пусть нехотя, уважали *Rontgena.* Открытые им лучи именовали – так было в немногих странах – *Rontgenовскими лучами.* Но официально чахотку все равно причисляли к наследию капитализма. Как и сифилис, дизентерию, злостное хулиганство, оппортунизм, затвердение внутренностей от долгого голодания и уйму иных недугов, раздражающих население. Мечтали добавить к этому списку пьянство, но после махнули рукой. Хотя тогдашняя медицина установила, что водка не предохраняет от туберкулеза, скорее наоборот. Что за напасть: фашизм сокрушен, добиты остатки буржуазии, а чахотка спокойно вершит свое черное дело! Т-с-с, харкает кровью даже такой-то партсекретарь. Кому приятно

смотреть, как ударник труда, только что разразившийся пламенной речью, торопливо хватает платок и негромко – потому и отчетливо! – сплевывает в него под явственный шепот публики: этому долго не протянуть! Венериков, гомосексуалистов и прочих рафинированных развратников советская власть усмиряла просто – запирала их в лагеря, отделяла от бесполого общества, хлестала бичом сатиры. Чахоточных, ясное дело, тоже неплохо бы засадить за решетку (пусть не харкают где попало), но как-то неловко – ТВС не брезговал и партийными. Поэтому коммунистические стратеги сгоняли недужных в профилактории, институты, госпиталя, санатории, давали еду посытнее. На долгое время советского туберкулезника превратили в носителя привилегий: он, видите ли, унаследовал свой недуг от обездоленных масс недавнего прошлого, которые по сырым подворотням вели борьбу за народное дело с гидрой мирового империализма. Так пусть, пока не издох, полежит на взморье или понежится в сосняке, пусть полистает пацифиста Ремарка, а лучше – Чехова, известного легионера чахотки, угасшего в Ялте, чахоточном парадизе. Мир видел: Советы не безразличны к мученикам ТВС! Делают все возможное, не очень-то придерешься.

Тем временем туберкулезники вполне сжились со своим несчастьем. Они гордились почетными льготами, кто побогаче, пил не простую водку, а коньячок и курил не махру, а «Казбек» или даже «Герцеговину Флор», как папочка Сталин. В укромных санаториях были оборудованы специально

для смертников довольно уютные одноместные домики, где перед отбытием в никуда (рай был под запретом) обреченные успевали вдоволь наслушаться патефона и аккордеона, наглотаться снотворных и на последнем дыхании позаниматься любовью с партнером по трудной судьбе.

Прогресс был столь очевиден, что в 1947 году фельдшер Сигизмунд Дрозд без труда защитил докторскую диссертацию на тему «Победная поступь советской власти в борьбе с ТВС». Став доктором, Дрозд получил разрешение на смену фамилии: начиная с 1948 года он всюду значился как С. Орел. Это имя выбито на гранитной плите, имеющей неправильную форму левого легкого и расположенной на кладбище в Петрашюнай[12], – С. Орла чахотка скосила в 1950-м. Он умер осенью, в самую добрую для любого туберкулезника пору, и был зарыт неподалеку от: а) стихослагателя-декадента, казненного туберкулезом во времена Смятоны[13]; б) отважного нелегала, сраженного сифилисом (официально – павшего при исполнении служебного долга); и в) народного художника СССР, мирно почившего в результате хронической старости. Добровольно вступив в семью советских народов, Литва получила право закрыть печальную страницу истории ТВС, который отныне превратился в некий реликт,

---

[12] Район Каунаса.

[13] Антанас Смятона (1874–1944) – президент Литвы в 1919–1920 и в 1926–1940 годах, юрист, журналист, профессор университета (1923–1927 годы). В 1940 году бежал на Запад, умер в США.

подобие средневековой чумы. А (якобы) последнему (якобы) пациенту, умершему от чахотки, был воздвигнут – на территории клиники в Каунасе – не слишком художественный, но вполне жизненный памятник. Для фигуры был выбран конкретный натурщик: мужик средних лет с открытой каверной охотно (и *во весь рост!)* позировал прославленному ваятелю, лауреату Сталинской премии III степени. Беда была в том, что больной, человек кристальной честности и железной воли, поборник колхозов и пролетарий в седьмом колене, пережил скульптора. Оба гиганта сдружились по ходу творческого процесса, а поскольку их убеждения совпадали, они принялись пить без удержу и водить сговорчивых женщин (сестер, поварих) в студию, оборудованную при санаторном клубе. Вскоре великий монументалист заполучил delirium tremens; в припадке депрессии он выбросился из окна и благополучно разбился. Статую, кое-что слегка изменив, завершил его ученик: фигура несколько пополнела, а на лице обнаружилось нечто похожее на улыбку. Произведение простояло у клиники вплоть до осени 1961 года; когда отвалились гипсовые рука и нос, полезли наружу прутья металлического каркаса, и эстетствующее руководство больницы снесло шедевр. И никаких протестов, никакой реакции в прессе.

За это время даже правительство ЛитССР уразумело: наскоком чахотку не взять, – и туберкулезники обрели новые привилегии: тюремные камеры для чахоточных сделались

чуть просторнее и стали называться палатами.

Кто напишет Историю литовской чахотки? Где этот черный летописец?! Начиная от королевича Казимира и не заканчивая каким-либо общеизвестным современным больным. Кто? Где автор? Увы. Риторические вопросы, риторические ответы…

Ныне, когда замухрышку-чахотку давно обогнали сиятельный рак, сердечные хвори и всепобеждающий СПИД, у любого нормального человека всегда найдется несколько приятелей или знакомых с туберкулезом. Они одиноки. Они лишены всех былых привилегий. Они утеряли свой *имидж*. В прежние, не столь отдаленные времена, что делал чахоточный? Много спал, сытно ел, валялся в постели средь бела дня, решал кроссворды, смачно рыгал, обстоятельно пукал и не давал покоя медперсоналу… А теперь? Какой уж тут смак! Современный чахоточный обретается в одиночестве, нелюбви и глухом запустении. Все на него положили: власть, наука, даже родные и близкие. Теперь в почете больные раком, сердечники и герои СПИДа. *Rontgen* переворачивается в гробу: на черта я мучился, тратил время? Мир его праху, и да пребудет слава его в веках. В рентгенах измеряется радиационный фон, который существовал во времена Калигулы[14], Витовта Великого, Муравьева[15] и В. Кудирки[16]. Отрадно, что

[14] Калигула (12–41) – римский император с 37-го года.

[15] Михаил Муравьев (1796–1866) – граф, генерал от инфантерии, в 1863–1865 годах генерал-губернатор Северо-Западного края, прозван «вешателем» за сви-

этот фон (повышенный в районе известного озера) зафиксирован, детально измерен, а результаты объявлены по национальному радио: лучше знать правду, чем прозябать в неведении! Обнаружены и металлы, мерцающие, как светляки, по ночам, и похищенные кассеты с *тем самым топливом,* которые, будучи даже зарытыми в землю, негромко *сверчат* – столько в них этих *рентгенов!* Как и во времена Чингисхана… Интересно, а крестоносцев волновал или нет какой-нибудь фон, когда они сплавляли свои катапульты по Неману аж до самого Каунаса? Вряд ли. Тогда другое заботило. Вот их надобности: набить живот, подстеречь в перелеске кралю или косулю, дать корм навьюченным битюгам и не попасть в засаду к язычникам. Сходные хлопоты донимали рыцарей, торговцев, разбойников, полководцев, а позднее жандармов, фельдъегерей, монахов и одиноких бродяг. Фон, конечно, существовал, но во все времена случались беды и пострашнее: засухи, неурожаи, паводки, мор и падеж. А пожары, набеги, а ломота в костях, импотенция, завороты кишок, а та же чахотка, в конце концов, – человек, как растение, медленно чахнет-сохнет, и вдруг от легкого дуновения, чирк, ломается стебель, и все. Но этот *чирк* всегда разный, поэтому его часто даже не замечают. В древности попадались любители умирать принародно, и не одни только русские, вовсе нет.

репое усмирение польско-литовского восстания 1863 года.

[16] Винцас Кудирка (1858–1899) – литовский писатель, просветитель, автор «Национальной песни» – гимна Литовской Республики.

Соглашались класть голову на колоду или совать ее в петлю, лишь бы все видели! В Мяркине[17], к примеру. Там есть место, где стояла постель умирающего короля, прямо на площади против корчмы. Пусть видят все, как умирают титаны! – вот последняя воля владыки, каковая была удовлетворена. На такое сейчас решится не каждый. И полиция не позволит. А вообще-то подобные ложа неплохо смотрелись бы в скверах и на больших перекрестках. Однако мои современники отдают предпочтение разным вагончикам, или палаткам, или прозрачным клеткам. Они не страдают чахоткой, им ни к чему умирать публично, они просто *мастера голодания.* Тут, наверное, отчасти повинен еврей Франц Кафка, когда-то написавший рассказ «Hungermeister»[18]. А может, и нет, вспомним Франциска Ассизского или еще более упертого голодовщика – швейцарского Брата Клауса!

Но вернемся к нашим чахоточным. Еще разок ненадолго отправимся в те прекрасные времена, когда больные были в большом почете, холе и неге, когда их потчевали не только пенициллином, но также фруктами и овощами. Пусть нелегко в двух словах обозначить племя чахоточных – их некоторые черты изначально присущи поэтам, священнослужителям, даже пролетариату, побратавшемуся с ТВС. Носитель чахотки, как правило, существо беспокойное, нервное, чут-

[17] Местечко на юге Литвы.

[18] В русском переводе С. Шлапоберской «Голодарь» (М.: Изд-во политической литературы, 1991).

кое к социальной несправедливости, неуживчивое и влюбчивое (но лишь при наличии шанса, что любовь останется безответной). Тогда наш герой способен ощутить неподдельное горе и с головой окунуться в свои страдания. С другой стороны, он чувствителен и к чужому несчастью. Бледный дистрофик не устоит перед соблазном спасти тонущего толстяка. Вынесет на руках из огня ребенка или угорелую кошку. Все равно – его дни сочтены. Кроме того, эти люди неистово спорят практически по любому вопросу: будь то всемирное потепление, международное положение или менопауза у двугорбых верблюдиц. Многие (в героическую эпоху) были политически ангажированы. Лучшими пропагандистами и глашатаями коммунизма оказывались как раз чахоточные. После войны туберкулезников направляли в лес штурмовать самые укрепленные и опасные бункера. Отчаяние вдохновляет – близость развязки облегчает совершение подвига, хотя и несколько его обесценивает. Поэты в смертном поту писали свои лучшие строки и не догадывались о том, что долгие годы спустя (когда их скелеты перестанут быть очагом заражения) сытые и здоровые литературоведы, без малейшего душевного угрызения, сварганят из их тщедушных трагедий пухлые диссертации и трактаты.

Не секрет: убийственные бациллы придают обреченным сексуальную мощь. Гибнущий организм аккумулирует столько энергии, что она, вроде пламени, бьет изо всех отверстий, и тогда любой заядлый моралист и пуританин вы-

нужден признавать: этого не запретишь! И верно: что уж тут аморального. В цейтноте чувство становится подлинным, жарким и скорым. Нету времени на интриги, нет смысла копаться в происхождении, изучать материальное положение, исследовать эстетические, а тем более политические воззрения. Хотя исключения, конечно, бывают. Чахоточная любовь чиста, возвышенна и бескорыстна – это компенсация за страдания, бессонницу и роковые предчувствия. Им туберкулезникам, не угрожает законный брак, и так называемые здоровые могут этому только завидовать, что уже утешает. Однако не всякое смертельное заболевание придает человеку положительный социальный статус. Нашему чинному и наивному обществу дела нет до сифилитика и алкоголика, до их человеческой драмы. Публика убеждена, что истоки подобных недугов – в безволии и распутстве. К их носителям относятся много хуже, чем к откровенным чахоточным, – с брезгливостью и нескрываемой злобой. А до чего непритворно торжество, когда отверженный испускает дух: *Что я вам говорил!* На долю чахоточных остается равнодушие, вялое сострадание и панический страх заразиться. Их избегают, от них отстроняются, но по-своему уважают. Во всяком случае, раньше имела место подобная установка. Сейчас она не так распространена.

В прежние годы венерик или пропойца завершал свои дни в безысходной тоске, в одиночестве, он горько пенял на судьбу и заливал тоску водкой или одеколоном. Тогда как

туберкулезник (если умел вертеться) гибель встречал как весну: горячо любимый и любящий, в окружении поклонниц. Художник, священник, парламентарий – они не скупились на пожелания и инструкции остающимся жить: это был долг любого грамотного чахоточного. Партийным и государственным деятелям директивно предписывали стреляться – наверное, нет нужды комментировать, какое государство и партия имеются тут в виду? В разгар послевоенной смуты они сами просились на опаснейшие участки (создание колхозов, выборы в лесных деревнях), и в ходе задания, если что, на курок нажимал идейный товарищ по убеждениям. Многие перед смертью вступали в ВКП(б), а позднее – в КПСС. И в этом нет ничего достойного осуждения – такие заботились не только о собственном посмертном величии, но также о близких, о благе своих потомков, которым когда-нибудь тоже придется вступать в комсомол, делать карьеру и стажироваться за рубежом. Дед с героической биографией всегда пригодится. Дед-коммунист намного ценнее, чем дед – деревенский староста при нацистах или – при буржуазной республике – дед-ополченец, дед-адвокат и т. д. Что уже говорить о деде – зеленом брате!

Никакой архивный рентгеновский снимок этого не покажет. Там заметны лишь затемнения, пятна, каверны, всякие роковые меты, причем неважно, кто обладатель легких – лейтенант КГБ или затравленный послевоенный учитель, пославший в лес половину класса. Именно в этом сила на-

уки по сравнению с вонью политики. Но и науке – даже самой невинной – непросто достичь объективности. Специалист превратит в политику даже латынь. Не говоря уже об истории, физике и географии. И пусть коммунисты вполне справедливо постановили, что вся мировая наука – детище жидомасонов, они создали *собственную* науку, не в силах без нее обойтись. Но все же не сельским хозяйством и фигурным катанием была озабочена партия, когда привлекала в свои ряды и евреев, и псевдомасонов. Как бы там ни было, у науки есть странное качество – неуклонно шагать вперед, она без этого не могла даже в период хмурого Средневековья. Во времена Джугашвили. Наука тем-то и уникальна, что никогда не знаешь, чего от нее дождешься. Всегда у нее в запасе шутка, как правило, злая. Выдав нечто сугубо ценное, она сама объявляет (или это само становится очевидно), что замечательное открытие обладает множеством негативных, просто жутких особенностей. Примеров этому уйма. Так случалось во все эпохи, не исключение Древний Рим и преувеличенно гуманное Возрождение. Целебные снадобья, краски, гвозди, консерванты, резиновые калоши, не говоря уже о других феноменах грозной химической мысли, превращались и превращаются в источник болезней и бедствий. Я не стану упоминать здесь синтетику, телевидение, телетайп, стимуляторы роста для птиц и людей, допинг и уйму других открытий, снискавших величие. Химия хуже всех! Я недавно услышал, что в Америке доказали, будто все

наши мысли (о женщинах тоже) есть результат химической – правда, сложной – реакции, протекающей в морщинистых недрах коры головного мозга. Я искренне ужаснулся и постарался полдня ни о чем не думать. Но все-таки думал! Вот что такое химия. Подозревая, что данный трактат тоже, скорее всего, имеет химическое происхождение, я могу облегченно вздохнуть и всю ответственность за ошибки, убожество стиля, шероховатости, метания между политикой и чахоткой, эротикой и военным делом возложить на химию. Тут дело не в Менделееве и даже не в хитрожопых американцах, ясно одно: все эти ботаники – либо евреи, либо масоны.

Rontgen был немец (фамилия редкая), поэтому, видимо, не еврей. Вряд ли нацист. Нет сведений, будто он обожал Вагнера (как Гитлер и Ленин). Он, сам того не ведая, открыл дорогу ядерному оружию и стал первым физиком, получившим Нобелевскую премию. Обратите внимание: Нобель и *Rontgen.* Швед и немец. Никаких жидов и масонов. Два европейца. Один изобрел динамит, другой – чудодейственные лучи. Они не дружили, даже знакомы не были. Швеция и динамит – в голове не умещается! Триста лет без войны – и такая игрушка в подарок. Что ему премия? Несвоевременный реверанс.

А *Wilhelm Konrad Rontgen* получил Нобелевскую премию. Человек с благородным лицом, я видел его снимок (не рентгеновский). Подлинный гуманист. С другой стороны: кто об-

виняет китайцев в том, что они когда-то придумали порох? Любой задрипанный хунвейбин ответит: мы и бумагу придумали! Чего бы стоил без этого изобретения самый удобный клозет? Ничего.

Литовцы тут ни при чем. Они во все времена старательно болели *чахоткой.* Конечно, болели также и корью, краснухой, скарлатиной, ангиной, чумой, оспой, проказой, падучей, шизофренией, сифилисом, чесоткой, гриппом, пародонтозом, но чахотке были верны всегда и сегодня не в состоянии от нее избавиться.

Однако по части этих ужасных открытий литовцы кристально чисты. Пустячок, а приятно. Смело умываем руки и ноги – ничего общего ни с *Rontgenom,* ни с Нобелем. В дальнейшем мы можем сколько угодно спорить о литовском происхождении Александра Македонского, Ивана Грозного, Адама Мицкевича, Достоевского, Толстого, Пилсудского, боксера Sharkey и даже Римского папы, но *Rontgena* и Нобеля оставим на совести немцев и шведов.

2

Ибо есть лишь одно великое действо —
проникновение в самого себя, и тогда отступают
время, пространство, даже всесилие разума.
Генри Миллер. «Тропик Козерога»

Летом 1968-го я, по сути, ничем не отличался от сверстников: по мере сил избегал всякой ответственности. Инстинкт самосохранения, надо сказать, был довольно могуч, его и трусостью не назовешь. Я избегал ответственности, поэтому очень быстро и цепко отмечал чужие пороки и недостатки – прежде всего боязнь этой самой ответственности. Едва завершилась весенняя сессия в университете, я был отправлен в пионерлагерь недалеко от границы с Народной Польшей и там назначен старшим вожатым отряда, т. е. начальником. Не по душе пришлись мне мои пионеры – дерзкие недоросли из Каунаса, Капсукаса и Алитуса[19], местностей излишне амбициозных, отмеченных провинциальной заносчивостью. Мальчики – практически все – плавали плохо, а озеро располагалось почти на территории лагеря, который, в свою очередь, помещался в здании средней школы. В летние каникулы она все равно пустовала. Лето выдалось теплое, дети, естественно, как очумелые лезли к воде, а начальник (седоватый любитель нимфеток), преподаватель истории и физкультуры, не уставал повторять:

– Если утопнут – в ответе ты, а потом уже я!

За это я ненавидел своих подопечных. Природа была прекрасна. Хотелось побродить в одиночестве, посидеть на веслах и выпить пива, развеяться после города, а на мне лежала ответственность за двадцать с хвостиком детских жизней. Возле школы озерное дно сразу ныряло вниз: два метра – и

[19] Капсукас (ныне вновь Мариямполе) и Алитус – города на юге Литвы.

уже с головой, а дальше зеленая, непрозрачная глубина. Лягушатник желтел где-то за километр, на другом берегу. Начальник – он всегда казался чуть-чуть поддавшим, хотя поддавшим бывал не всегда, просто лицо у него такое – любил рассказывать, как его институтский товарищ сидел как-то с книгой в лодке, привязанной к берегу, но все же свалился в воду и утонул. Это, правда, было другое озеро, но все-таки! Какие стихи сочинял, сколько девок по нему умирало! А другой приятель захлебнулся еще глупее: ноги на суше, морда в воде; этот, бедняга, сам виноват – перебрал. Хотя и плавал как щука. Теперь бы я плюнул на все эти разговоры, а тогда серьезно переживал и с глупым усердием гонял ребят от воды; за это меня ненавидели все, кроме одного каунасца, который даже не приближался к озеру и никогда не ходил босой, – так эти проказники ненавидели и его, его даже больше! Сам я ужасно любил купаться, плавать, грести – вырос я у воды, и мне ее всюду недоставало, особенно в городе. Поэтому я вставал до горна, успевал понырять и поплавать, и на завтрак мчался бодрым и отдохнувшим от невыносимой ответственности.

Однажды утром, пасмурным и прохладным, я побежал купаться и возле лодок увидел: из воды выходит Люция, прошлогодняя выпускница кафедры русского языка, года на три-четыре старше меня, сухая, как можжевельник, и плоская, как голыш. Все равно она женщина, в этом я как-то не сомневался, хотя скрывать ей в общем-то было нечего. При

виде меня она вполне натурально изобразила смущение, даже испуг, бесстыдно оскалилась до ушей, напоминавших локаторы, и, как золотая рыбка, унырнула обратно в пучину. *Золотая,* ибо волосы у Люции светились издалека, светились вроде сухой можжевеловой хвои. Про себя я давно ее называл ее *Можжевелкой.*

Люцию все узнавали за километр из-за этих коротких, жестких, красных волос. Мы иногда перебрасывались словом-другим на *служебные* темы – Люция тоже была вожатой отряда, руководила старшими девочками. Она старалась быть независимой и держалась всезнайкой. Теперь, отмахав чуть не до середины озера, она развернулась, приплыла обратно, вцепилась в уключину и, тяжело дыша, принялась объяснять, что тут ее место, что она не потерпит, да есть ли во мне хоть капля стыда, а после велела мне отвернуться и даже закрыть лицо ладонями. Я отвернулся, но вторую часть повеления не стал выполнять – тихо смеялся, и все. Тогда у меня была глупая мода: старательно избегать всех, кто хоть немного старше, особенно женский пол. Люция быстро впрыгнула в свой пестренький сарафан, а я рухнул в воду и рванул почти до другого берега, а когда возвратился, Люция сидела в лодке, курила и щурилась: наблюдала за мной. Волосы у нее еще были мокрые, но все равно очень красные. Я почему-то подумал: они, наверное, светятся в темноте. Я уселся в лодке против нее и, в свою очередь, тоже закурил. У нее были мерзкие босоножки, и сарафан этот русский то-

же. Что поделать, русистка. Будь она мужиком, наверняка бы носила толстовку, вдруг осенило меня. Я курил и сам исподлобья тоже следил за ней. Мы впервые столкнулись один на один. Я стеснялся заговорить – до того смышленым было ее прелестное личико. Тю, а когда она сидит в лодке на твердой скамье, у нее образуется даже какая-то попка! В лагере знали девиз Люции, который годился для вышивки на гербе, если бы таковой имелся: «Замуж не выйду и никогда никому не буду рабыней!» Красиво. Сваты, трепещите! Ладно. Меня тогда занимали практикантки из ближней учительской семинарии, тогда уже получившей звание педучилища. Те не выказывали пристрастия к педагогическим и прочим поэмам, вели себя вполне дружелюбно и вечно хихикали. Некоторые из них были атлетически сложены и управлялись с детьми без особого труда. Я им завидовал, в этом смысле они работали *по призванию.* Люция, как бы она ни была умна и принципиальна, со своими подростками ладила плохо, слишком любила приказывать: «Пойди! Принеси! Подай! Не забудь!» Эти провинциалочки почти в открытую измывались над ней. А она с выпученными глазами носилась по берегу в поисках Дайвы, девчонки из Каунаса (та на кого-то обиделась и забралась в пустую котельную, летом туда никто не заглядывал). Уже через полчаса Дайву искал весь лагерь, даже начальник, который истошными криками понукал Люцию: «Ответишь! Ох, ответишь!» Я ненароком засунул голову в этот полуподвал и, увидев два горящих глаза, негромко

позвал: «Иди, иди, все в порядке, не бойся!» Вывел девчонку за руку на свет божий. Люция тогда при всех бросилась мне на шею, но сразу же отскочила, точно ошпаренная: нарушила собственный принцип. Девчонку она, конечно, поколотила бы, но ту уже утешала старенькая учительница *из бывших.* Все расслабились. Начальник уселся в лодку с мозолистой практиканткой и отчалил инспектировать сети, детишки играли в вышибалы, старшие лениво забрасывали в корзину выцветший мяч, а потом все собрались в столовой на полдник.

Теперь Люция запрокинула голову к тусклому небу, выпустила дымок и сообщила:

– Детей сегодня в кино не ведем. До шестнадцати.

– Чего там еще привезли? – спросил я.

– «Солнце и тени», болгарский. Второй раз пойду. Отличный фильм!

Фильм мне показался сентиментальным и легковесным. Люция позволила подержать в ладони свою ладошку, притворилась, будто не замечает, когда я пристроил лапу на ее твердом худосочном колене, но едва я попытался погладить бедро, она умело – профессионально! – саданула мне в бок острым локтем, да так, что у меня перехватило дух, а тут и кино завершилось: *конец фильма.*

Я делил свою комнату – кабинет географии – с водителем, сторожем и подсобным рабочим. Проснувшись от их синхронного храпа, я поднялся и решил пойти побродить.

Завтра ведь воскресенье, родители съедутся, будет день поспокойнее, может, еще и высплюсь.

В столовой я застукал начальника уже с другой практиканткой – было слышно, как после всего отдувается тренированная атлетка, чемпионка училища по метанию диска, и как ее томно увещевают: «Солнышко, вот уж теперь мы точно коллеги!» Он – без всякого повода – глянул в сторону и заметил меня. Я тихо вышел на улицу, закурил и стал наблюдать, как от озера волнами наплывает туман – настоящее лето!

Назавтра, к вечеру, он позвал меня в кабинет, в граненый стакан до половины налил водки, рядом положил огурец, налил себе, а когда мы оба выпили (он одним махом, а я – морщась и без охоты), очень любезно мне посоветовал не распускать язык. И еще спросил: «А ты чего спишь? У них там у всех *чешется,* понял?» Хлопнул меня по плечу, посерьезнел и стал жаловаться, как трудно начальнику: забот полон рот! Завхоз купил для столовой борова – чистое сало! У детей от такой диеты начнется повальный понос, да и вообще – на хрена столько жира?! Вот он каков был, начальничек, – хозяйственный, оборотистый, нежно любимый, вечно в заботе о каждом и сразу за всех *в ответе.*

Я таким не был. Тут же забыв об ответственности, я попросился на три дня в Вильнюс, ибо знал, что там уже закипает первый в Прибалтике *Gaudeamus* со всеми своими хорами, факельными шествиями, пивом, дружинниками и все-

видящим КГБ. *Ну что ты, понятно, конечно же, поезжай,* сразу согласился начальник и в припадке великодушия вручил мне десять рублей аванса.

Праздник! Толчея, колготня, очереди к киоскам, знакомые лица, незнакомые лица, песни с лесной эстрады (парк Вингис) и пьяные вопли на улицах, национальные костюмы и кепки, море факелов на Кафедральной площади. Мы с Эльзой стояли в толпе, боясь потеряться, стояли обнявшись, а какой-то тип рядом с нами громко провозгласил:

– Факелы! И фюрер с этого начинал!

Без всякого опасения получить от кого-нибудь в глаз или нарваться на подобающий ответ в подобающем тоне.

Храбрый, надо же. Видно, ждал: кто отзовется? Нет, ничего. Я поселился в своем же пустом общежитии, попросил – и пустили. Так мы и проболтали с Эльзой три ночи подряд. Не совсем платонически, но почти. Еще не отшумел Gaudeamus, а я засобирался обратно в лагерь, будто стал волноваться – *как они там?.* Неужели проснулось зловредное чувство ответственности? Вряд ли. В пригороде я попробовал останавливать тяжелые грузовики, но что-то не очень *везло.* Подбросят на десять километров, и снова давай голосуй. Зато бесплатно. Где-то на полпути я встретил компанию знакомых географов – мы вместе посещали военную кафедру. Неподалеку располагался научный лагерь. Даже не знаю, чем они там занимались, – мерили скорость ветра, производили геоморфологические исследования, брали какие-то

пробы почв? Звали с собой: девок хоть отбавляй, а нас только четверо! И ржали как жеребцы. Под вечер я оказался в каком-то дрянном городке и застрял по-серьезному. Там была одна-единственная забегаловка в длинном деревянном бараке, я наскреб по карманам копейки и пристроился к очереди за пивом. Кругом, понятное дело, одни мужики, да и те какие-то злобные, шипят, матерятся. Да. Скорей бы доехать, чуть не сказал – *домой.* Я вышел на серую сумеречную дорогу и потопал пешком. Мимо летели пустые грузовики, но ни один гад даже не притормозил. Еще самосвал. Что-то их много для ночи! Так я и пер на своих двоих. Вот и центр городка – урчат бортовые грузовики, сияют прожектора, хрипло кричат мужчины, и горят окна во всех здешних немногочисленных здешних учреждениях. Это я прикоснулся к тому, чего боялись и ждали: ночью русские вступили в Чехословакию, и всюду была объявлена *боеготовность номер один.* Много позже, вспоминая ту ночь, я представил себе, как ползли через Влтаву русские и гэдээровские танки, как с неба сыпались на Прагу десантники каунасского и алитусского полков, в которых никто не стрелял и которые в Праге ориентировались, как на своем полигоне. Недаром натовские стратеги операцию по захвату Праги позднее сочли образцовой! В воображении – это было опять-таки много позже! – без труда уместились чехи, бегущие к баварской границе, и готовый к удару, но, слава богу, не ударивший *Bundeswehr, я* ощутил замешательство и напряжение в Брюс-

селе, Москве, Бонне, Вашингтоне… Той же ночью что-то похожее, только в миниатюре, происходило на центральной – единственной! – площади заштатного городка под боком у Польши. Зачем им столько машин?! – мучился я. Грузовики как грузовики – сельская механизация: кто-то недавно сгрузил навоз, кто-то сено, свежую древесину, щебень и кирпичи. Больше всего там было старых полуторок: неказистых, но очень выносливых. Откуда-то прикатил даже дряхленький «студебеккер» – дар союзников, долгие годы возивший на бойню колхозных свиней и телят. Все уже знали: этой ночью русские окажут братскую помощь чехам – и неважно, что те, дураки, боятся ее, как черт ладана. Меня волновало одно: как бы и где бы выспаться. И (удивительно!) – в порядке ли сорванцы из *моего* отряда, не утонул ли кто? Не свернул ли шею? Странно! Вон Чеслав вообще не умеет плавать, а к воде бежит первый. Едва держатся на поверхности и два братика Лагунавичюса, еврейчик Муля, он, кажется, тоже из Каунаса, еще несколько. Машины в пробке громко сигналили, но особой паники в городе не было: многие просто не спали, и все. Донеслось: «Запад не сунется, русских лучше не злить». Кто-то ответил: «Увидите, чехи пошумят-пошумят и снова запляшут под старую дудку». Третий вмешался: «Зато нас еще больше станут долбать!»

И тут я увидел: на краю площади стоит Люция и растерянно озирается. Она меня тоже заметила, подбежала, обвила мою шею горячими сухими руками и поцеловала в губы.

В ту ночь у нас началась любовь, настоящая, без оглядки, без удержу, как на тонущем корабле или во вражеском окружении. Может, сгущаю краски, но теперь именно так и кажется. После объятий мы целую ночь шептались, не только о чувствах – о литературе. Люция была без памяти влюблена в русскую литературу, понимала ее, говорила пылко и вдохновенно, почти в экстазе, но совершенно без фальши. Я был молод, Люция стала моей наставницей в ласках и литературе, я успешно осваивал эти две дисциплины (так она говорила). Подремав, я вставал и шатался по лагерю, с утра нетерпеливо ждал, ожидая ночи. Всевидящие практикантки от меня воротили носы, а начальник подвел резюме одни словом: *молодчик!* Дети вдруг полюбили меня – им было позволено все что угодно, *кроме воды!*. *Я* просил, чтобы опытные пловцы – а такие были! – всегда следили за начинающими. Мы устроили поход с ночевкой, Люция тоже пошла со своими девочками. Дети вели себя ангельски: соорудили для нас палатку, подстилку изо мха. Наловили рыбы к ужину. Костер полыхал до утра. Дети уснули, а мы с Люцией до рассвета просидели у озера, не всходя на мягкое ложе. После похода любовные ночи продолжились – ласки и горькие радиовести из Праги. Русских Люция не защищала, только литературу. О политике говорить вообще не желала. Только поморщилась, когда я вслух помянул про Карибский кризис, мне тогда было тринадцать. «А, – сказала она, – лучше я тебе почитаю Цветаеву!» И читала – негромко, нервно и проникновенно.

Вся эта любовь продолжалась до тех пор, пока хозяйка Люции, по наущению ксендза и других сородичей во Христе, не выгнала нас, как Адама и Еву: «Вон отсюда, развратники!» Вдова, измученная неутоленным желанием. Бездетная, богобоязненная старушонка. Попечительница гортензий, алтеев и георгинов. Все на алтарь. Люция мгновенно собрала коленкоровый чемодан, накинула плащ, мне вручила корзину. «А книги, – сказала она хозяйке, – потом заберу. И глядите, чтоб ни одна не пропала!» Вдова начала грозить, что сообщит начальнику лагеря. Люция громко расхохоталась. Старуха пообещала нам адские муки, но это когда еще! Мы вышли на освещенную улицу, Люция разволновалась, стала сбивчиво проклинать хозяйку, назвала ее ведьмой, ханжой и даже крепче, по-русски. Я понимал, что терпение доброй вдовушки лопнуло не случайно, что у Люции и раньше были способные ученики. Но я молчал. Я ни о чем не спрашивал. Я ощущал привязанность, зависимость от нее, но о таких делах мы обычно не говорили.

Только о Пастернаке, Есенине, Мандельштаме, Ахматовой и Цветаевой. Даже о Маяковском и Горьком. Иногда о Бунине и Тургеневе. Классика! Но воплей о Герцене и Добролюбове я потерпеть не мог. Тогда Люция начинала меня щекотать, и все завершалось любовью. Только огненный можжевельник светился и полыхал изнутри.

Как-то ночью Люция отвела меня к своей коллеге-математичке – та как раз собиралась на море, но, поскольку бы-

ла партийной, поездку в связи с событиями в Чехословакии пришлось отложить. *Мало ли что,* как сказал парторг. Математичка! Будет считать натовских военнопленных? Она терпеть не могла родимую партию, но бросить ее никогда бы и ни за что не решилась – такой ее выход *(такая выходка)* знаменовал бы не только профессиональную, но и, пожалуй, физическую кончину. Особенно в эту пору, когда мир напряжен, как струна, и ждет, затаив дыхание: чем все кончится. Хотя нетрудно было предугадать – кончится оккупацией и медленным удушением. В русских никто не стрелял, чехи только стыдили и издевались. Напряжение было, конечно, но чувствовалось, что скоро все кончится так же, как когда-то завершилось в Берлине, а после – в Венгрии. Только без крови, практически мирно.

Однажды нашей математичке ждать надоело, и она потихоньку отчалила в сторону Балтики, освободив нам свою комнатушку в доме у самого озера. Я мог бы нырять в зеленоватую воду непосредственно прямо из окна. Сказочная неделя. Выяснилось, что Люция великолепно готовит. После лагерных круп я обнаружил в себе гурмана. Она мне порассказала про свое босоногое детство на латвийской границе. Отец, ветеринарный фельдшер, умер от столбняка. *Столбняк, представляешь?* Представляю. Помню несколько давних случаев. Двух мальчишек спасли, третий умер. «И я, – говорила Люция подозрительно гордо, – болела туберкулезом. Костным. Потому я такая плоская и осталась». Я при-

смотрелся: она не казалась болезненной. «Дурачок! – расхохоталась она. – Если б ты знал, сколько меня ломали! Как я намаялась с гантелями и эспандерами! Хотела выздороветь и выздоровела», – так-то вот.

Математичка оставила нам и вполне приличную лодку. Ночью мы выплывали на середину озера, ложились и засыпали, а к рассвету возвращались назад. Однажды утром – в одно прекрасное утро! – мы увидели у воды нашу математичку. Загорелую до полной неузнаваемости. Только зубы остались белыми.

Люция (для всех) осталась жить у подруги, а я (всерьез) поселился в палатке на берегу. Однажды начальник увидел, как из нее выбиралась Люция:

– Вы обалдели? Тут дети ходят!

Большой моралист. Коллега. С другой стороны, он прав: здесь у всего есть глаза. По вечерам мы ходили в парк. Люция вечно съезжала на литературные темы. Я-то не сомневался, что и она окунает перо в свою кипучую кровь, но едва заикнулся об этом, она вспылила, как будто ее обвинили в самом мерзком грехе.

– Писать после *них*?

Я понял и замолчал. Она обвиняла меня в неразвитости и нелюбви к русской литературе. Я ссылался на молодость и слабое знание русской литературной речи, – а Люция же подростком попала в Клайпеду, где без того языка, *которым разговаривал Ленин,* шагу не ступишь. Так она говорила.

Лето подходило к концу. Дети и те поскучнели. Вянули и опадали еще зеленые листья липы. Все практикантки успели стать *коллегами* начальнику лагеря. Ящерицы отрастили новые хвостики и грелись на последнем горячем солнце. Предчувствуя осень, печально выли на слепую луну все местные тузики, шарики и полканы. А мир переводил дыхание: русские утвердили у власти собственных марионеток, крови не было. Мир лицемерно соболезновал чехам и даже словакам, диссиденты ковали железо, строчили эссе и зачитывали их вслух на Europa Libera и прочих радиоголосах. Работы хватило всем, кагэбэшникам тоже. Я удивился, когда преподаватель истории, некто Камблявичюс, светлая голова, вполне серьезно сказал: «Чего этим чехам неймется? В сто раз лучше живут, чем мы, и все мало…» Даже более крепко Покрепче выразился, ну да ладно.

Я был благодарен Люции за многое. Что не талдычила про любовь. Ничего не просила. Что литературными экскурсами не раздражала, а они пошли, скорее, на пользу. Я нашел общий язык с подростками, они даже стали ко мне иногда прислушиваться. Я делал вид, что не замечаю курения, не обращал внимания, что вечерами они пробирались к девочкам на *побывку*. Был убежден, что там *ничего* не случается – стайками приходили, стайками уходили. Тут важнее всего таинственность и запретность, но начальник за все за это ответственность возложил бы сперва на меня, а потом уже на себя. Часто приезжало передвижное кино, мы с Люцией ходили,

по ее выбору, только на *лучшие* фильмы, так я увидел «La Strada»[20] и еще один итальянский – «Они шли за солдатами». Об армейских шлюхах. До сих пор вспоминаю мелодию, на которой держался весь этот фильм. Немцы там выглядели серьезными, но все равно жестокими и неумными; остальные мужчины, как всегда на войне, – кобели и дубины. Возвращаясь к двум этим фильмам, всегда вспоминаю Люцию, это была моя первая настоящая женщина, я к ней привязался. Старше была чуть-чуть, а утешала как мама. Что не стоит изводить себя по пустякам. Что *дела* мои с Эльзой наладятся, – в последний день Gaudeamus'a мы сильно повздорили из-за какой-то там ерунды, а я не стал потакать очередному капризу. Ну ладно. Люция была достаточно опытна, но не развращена, кроме того, обладала замечательным чувством юмора. Здесь ей делалось тесно. Знала: долго в таком городке она не задержится, потому и чихала на местные заповеди, тем более что не богини горшки обжигают. Она была жаркой, как преисподняя, так мне тогда казалось. Все у нее превращалось в шутку или в поэзию, и я до сих пор ей благодарен ей за это. Пылающий можжевельник. Издалека, из какого же далека он виден! Она рассказывала о звезде литовской поэзии, восходящей из этих мест, – называла даже деревню: «Такой маленький, черный, противный, но ты послушай!» Какой огонь выбивается у него из ноздрей! Мне было пле-

[20] Фильм Федерико Феллини, в советском прокате – «Они бродили по дорогам».

вать: хоть батраком за бесплатно, лишь бы продлился день, а заодно и лето. *Вернешься в город,* утешала Люция, *Эльза сама к тебе прибежит, спорим? – А ты*? – чуть не плача спрашивал я. И целовал ее узкие губы и узенькие глаза.

До конца каникул оставалось три дня. Каунасские мамы снарядили автобус и заранее увезли своих чад. За водкой к последнему пиршеству пришлось посылать аж в Гродно – литовцы на случай войны скупили все до последней бутылки, даже на складах. В тот день, когда было объявлено, что вечером весь персонал отправляется на озеро ловить раков, дальний конец которого уже относится к Польше, – оцените доверие местной погранзаставы! – в городок с хриплым урчаньем вкатился автобус, привлекший внимание всех, кто видел его: очень длинный, с какими-то странными выпуклыми боками, неповоротливый и облезлый. Он еле взбирался даже на самую плевую горку, но все же заехал в парк и остановился под липами недалеко от футбольных ворот. Его провожали глазами все: святоши у входа в костел и пропойцы у дверей забегаловки. *Какой-то непассажирский,* засомневалась местная публика, но лагерный врач сразу определил: *флюорография.* Всем будут просвечивать легкие. И назвал этот автобус официально: передвижная рентгеновская установка. Мы потопали к озеру, наловили несколько ведер раков, тут же на берегу их варили, пировали, плясали, угощали раками пограничников, а про этот автобус, конечно, совсем забыли. Я первый раз увидел Люцию пьяной – она хлюпала

носом, как первоклашка, не давала себя успокоить и подойти не давала. Потом сиганула в то самое озеро, поплавала туда и сюда и выскочила на берег мокрая и веселая. Дрожала, присев у костра, и пожирала раков, как будто сто лет не ела. Поздней ночью вернулись в лагерь. Люция ушла одна. К математичке. Я забылся рядом со сторожем и шофером.

Весь городок уже знал: будут просвечивать легкие. Автобус не исчезнет до тех поры, пока на экране его рентгеновского аппарата не возникнет грудная клетка последнего здешнего жителя. Государство не потерпит и не поймет уклонистов от профилактического осмотра, – по мнению государства, это сродни саботажу и, хуже того, вредительству. Поэтому даже тот, кто чувствовал себя совершенно здоровым, понял: от просвечивания не уйти!

Городок по-своему взволновало появление автобуса; не сказать, что обыватели были потрясены или выбиты из привычного ритма, нет. Но мужики, наговорившись в пивном павильоне, уже подгребают поближе, стучат по покрышкам, негромко спорят о скорости и проходимости этого драндулета. Любопытно и что там внутри, но однако автобус был заперт, а небольшие окна задернуты бледно-желтыми занавесками. Чтобы, избави Господи, не просочился свет снаружи.

Персонал *Rontgenовской* станции был невелик. Нет, скорей, экипаж или команда. Сам не знаю, почему я этот автобус сравнил с кораблем. Кажется, рентгенологи тут уже бывали, ибо потому что курсировали по городу без расспро-

сов: что и да где. А с другой стороны, что чего расспрашивать – все как на ладони: костел, забегаловка, сельсовет, две конторы, три магазина, баня, лесопилка, школа, аптека. Ну еще хозтовары, но чужие туда не совались. Команда: *врач-рентгенолог,* моложавый мужчина, водитель и лаборантка, совсем дитя. Это дитя вечно сопровождал шофер – прокаленный солнцем верзила с соломенной шевелюрой. Парочка сразу облюбовала мостки, принадлежавшие лагерному завхозу Камблявичюсу, сидела там с удочками, а к автобусу являлась только по вечерам, когда на парковой танцплощадке располагался местный молодежный ансамбль – две электрогитары, выпиленные из досок, да трескучая ударная установка. А доктор? Доктор напялил серый, свежевыглаженный костюм и не мешкая направился к почте. Общественность не замедлила удостовериться: по телефону звонил в столицу и отослал перевод на тридцать рублей какой-то «-*ене*»[21]. Поскольку фамилия доктора Бладжюс, а деньги должна была получить некая Аугустинене, все единодушно решили: он алиментщик. Хоть и совсем не похож на бабника. Насчет алиментов сложилось три мнения. Первое: изображает порядочного – серый костюм, сорочка белее снега, – а где-то детишки плачут без папы! Второе: везет же некоторым. И третье мнение, уже вполне благосклонное к Бладжюсу: раз алиментщик, стало быть, разведен. А разведен, это значит свободен. Если свободен, тогда вперед! Этой безнравственной

[21] На «ене» оканчиваются фамилии замужних литовок.

версии придерживались немногочисленные местные тридцатилетние барышни – уже опаленные жаром любви или готовые к опалению, но в силу отсутствия принцев пребывающие в опале, как палые листья. На момент прохождения Бладжюса в сторону почты все они, как одна, упивались последним солнцем на местном пляже и были отлично видны.

Заглянем же наконец внутрь автобуса. Кроме специального медоборудования, тут имелись три вполне приличные койки. Но осмотр пациентов мог случиться в любое время, вот почему шофер с лаборанткой установили рядом с автобусом зеленую палатку и развели небольшой костер, на котором и жарили свежепойманных окуней и плотвиц. Они не выпускали друг друга из поля зрения и, когда никто не видел (или так им казалось), из объятий. Возведя палатку, парочка, можно сказать, потеряла к городу интерес, однако ночью эту обитель влюбленных кто-то обстрелял комьями грязи и дерна, а внутрь плеснул полведра озерной воды. Бладжюс поговорил с участковым. Тот кивнул. Грязь летать перестала. Участковый отлично знал, чья это работа, даже пополнил досье некоторых призывников, но мер никаких не принял: осенью всех забреют, и уж там обломают рога, как положено.

Городок привык обходиться без тайн или тайны себе заводил такие, не знать которые было немыслимо, – поэтому все, о чем я тут повествую, естественно, было известно и мне. Но разве это меня касалось? Стыдно признаться, тем летом меня почти не трогала судьба друзей и знакомых, попавших

в мятежную Чехословакию: студентов в армию не тягали, и я расслаблялся как мог, а они… Когда мы наконец встретились, они все, как один, рассказывали о красивейших городах, сытной пище и пиве, даже о девках, а некто Жильвинас Бронскис, будущий доктор права, страстно доказывал, что армию вводить было необходимо, и если бы эти паскудные чехи начали серьезно сопротивляться, то… учти, мы бы им показали, откуда ноги!..

Тем летом меня трогала сухая, как хворостинка, Люция Норюте, преподаватель русского языка и литературы, ее горячий живот и шершавый голос. Меня донимала черная молодая тоска, что все кончается и не остается даже призрачных обещаний: может, когда-нибудь, вдруг, почему бы и нет… Никаких банальностей. Только солнечная улыбка и тот ужасающий плач возле озера. Я наивно предполагал, что она рыдала из-за меня, – этот плач подтачивал сердце, но щекотал мальчишечье самолюбие. Меня как будто гнали из дома, я был беспризорник, сиротка, которого только погрели за пазухой и еще кое-где, а теперь прогоняют с порога и нежно подталкивают: иди же, детонька, мир так огромен!

Как было сказано, городок уже знал, что просвечивание легких начинается завтра в девять и (с обеденным перерывом) продолжится до девятнадцати. В это время еще светло. Не худо бы, господа хорошие, по такому случаю искупаться с мылом, соскоблить коросту, покрасоваться в свежем исподнем, поскольку, как всем хорошо известно, придется себя

оголять до пояса, стыдиться тут нечего даже девицам, ведь рентгенолог всего насмотрелся: работа! Так или приблизительно так проповедовал доктор Венцкус, шеф небольшой городской больницы, сам с уклоном по женской части, где в этом соперничать с ним мог только начальник лагеря. О, начальник! Я знал, что все практикантки заранее деликатно предупреждались о том, что положительный отзыв о педагогической практике непосредственно связан с результатом ночной рыбалки; необязательно, правда, ночной, – историк и физкультурник особо любил безмятежные, малооблачные вечера. За мысом на озере был у него собственный «уголок любви» – там даже стоял шалаш на случай ненастья. Был там также секретный сосуд, который своевременно пополнял спиртным доверенный местный житель – дочь его закончила школу с медалью, и помнить об этом следовало до гроба. Но та, которую я застал с ним ночью на общепитовском столе, явно сопротивлялась. Возможно, ей было плевать на эту характеристику, а может быть, ей не нравился перегар, которым несло от начальства? Помню, звали ее Алдуте. У нее такая красивая твердая грудь, я танцевал с ней под липами. Не будь Люции, мы бы нашли общий язык. Например, на тему преодоления дистанции средней дальности. О новых эстрадных песнях. Но – меня поглотила Люция, полностью. Алдуте, как я заметил, несколько дней ходила с припухшим носом, видно, оплакивала незапланированную потерю невинности. А когда выплакалась, после тан-

цев – это я видел сам – ушла с Крутулукасом, хотя знала, что осенью его забирают в армию. Вот так Алдуте приобщилась к жизни нормальной веселой женщины, как и все ее лагерные коллеги. В известном смысле она должна была испытывать благодарность к начальнику: опытный кавалер, надо думать, вел себя деликатно, не в пример прыщавому призывнику. Во всяком случае, так мне растолковала Люция свое понимание этой ночи, а я, похоже, впервые не ответил на ее объятия: оказывается, ты *циничка,* Люция! Но вслух, ясное дело, ничего не сказал. Она бы, как пить дать, обиделась и замкнулась. Сдвинула бы остренькие колени и крепко замкнула раскаленные дверцы своей печурки. Передо мной, разумеется. Потому-то инстинкт мне шепнул: промолчи. Дальнейшая жизнь показала, что я поступил разумно. В ту пору я еще не знал, что привлекает меня не сама Люция, не ее многогранная личность, а наша телесная страсть, – всегда неожиданная и новая. Это *желание* поставило меня вровень с подростками, даже с самим начальником лагеря. Да, фамилия у начальника, если не ошибаюсь, была Клигис, имя Винцентас (тоже мне победитель!). Ходили упорные слухи, что он *особенным* образом экзаменует и более зрелых абитуриенток, – этим мерзостям я не верил, хотя меня убеждала сама Люция. Практикантки – это совсем другое. Им были по нраву водные процедуры с самим руководством, возможность пощекотать самолюбие и еще кое-что, понежиться в романтической тени шалаша, вздремнуть после двух-трех глотков

подсахаренной самогонки, а когда стемнеет, доставить пирата в родимую гавань. По словам Люции, эти *барышни* делились впечатлениями весьма откровенно: видно, и мысли не допускали о том, что это грех. Среди других выделялась только Алдуте, но и она пошла с Крутулукасом, *Выкрутасом,* длинноруким нескладным парнем. Когда мы столкнулись лет десять спустя на автовокзале в Каунасе, я узнал одного только *Выкрутаса* – его конопатую морду и длиннющие руки. Алдуте узнать было невозможно: располневшая напомаженная матрона, все руки в кольцах. А *Выкрутас* остался собой – живым, непоседливым, без царя в голове. Еще я припоминаю, что практикантки почти не курили и ругались исключительно по-литовски – эти ругательства мне казались пристойными, хоть и странноватыми в девичьих устах. Своих пионеров они называли *какашками.* Образно, спору нет, но зачем же так?

Вернемся к автобусу. Итак, чуть стемнело, на площадке завизжали-задергались самодельные, выпиленные из досок гитары: за твистом последовал шейк, но большинство танцевало в свободном стиле, кто как умел. На площадке образовалась толпа будущих олимпийских надежд – байдарочников и каноистов, которых весь городок ненавидел за то, что они гоняли по озеру желторотых утят, селезней и прочую водную живность. Местная молодежь тоже фыркала на спортсменов. Только я был обязан помалкивать в тряпочку, потому что так велела Люция, – разве мог я ее ослушаться!

Плясуны прибывали со всех концов, из окрестных сел слетелось несколько «яв» и «ижей». До чего же коротко лето! Велосипеды и мотороллер «Вятка» по сравнению с новыми мотоциклами никуда не годились. Длинноногие, модно подстриженные девчонки из юношеской сборной затмили всех наших практиканток и местных барышень. Зато присутствующие парни мигом поблекли перед явившимся рентгенологом Бладжюсом – в городе эта редкостная фамилия уже была на слуху. Поблекли парни и перед светло-кудрявым шофером автобуса – он был в белом *джемпере*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.